

ЕВГ. ГАБРИЛОВИЧ



# ПОД МОСКВОЙ

— н о в е с т ь —

©



Е. ГАБРИЛОВИЧ

# ПОД МОСКВОЙ

ПОВЕСТЬ

МОСКВА

*СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ*

1943



## Глава 1

— Вот и Волга,—сказал товарищ Семенов, политрук второй роты.

Петр Котельников вышел на площадку вагона. Длинный, далеко растянувшийся, толкаемый двумя паровозами, поезд, везший дивизию на фронт, подходил к волжскому мосту. Хмурый день, мелкий дождь—осень 1941 года. Земля, раскинувшаяся перед Петром, была бугристая, пустая, холодная, покрытая снежными червоточинами. Проплывали избы со скворечниками на шестах, с перевернутыми лодками на дворах, рядом с телегами и саними. Мелькнул закрытый шлагбаум; лошаденка, запряженная в телегу, стояла перед ним, стараясь ухватить верхней губой листок с увядшей рябины. А женщина, сидевшая на телеге, дергала вожжей и выкрикивала что-то сердитое и короткое, вероятно:

— Стой! Тпру! Стой, чорт, тебе говорят!..

— А строгая дамочка!—одобрительно сказал командир отделения, сержант Перчаткин, стоявший в тамбуре.

Паровоз дал свисток и медленно, как бы нерешительно, вполз на мост. Внизу, сквозь стальной переплет моста, замелькали холодные, тяжелые, серые волны, баржи у берегов, черный буксир, тянувший нефтеналивной караван и, казалось, недвижно увяз-

нувший посреди реки, в клубах отчаянного серого дыма.

«Вот скоро я и дома!—подумал радостно Петр. Он был из Москвы, окончил там среднюю школу, лейтенантские курсы и был после этого направлен в полк, квартировавший в Сибири, где и прослужил командиром роты три с половиной года.—Какая она теперь, Москва? Что-то на нашей Кропоткинской? Где Оля? Скорей бы, скорей!—нетерпеливо думал он, сердито глядя на медленно уплывающие пролеты моста.—Пу что за езда?»

— Перчаткин, в Москве бывал?—обратился он к сержанту.

— Да где мне?—изумленно ответил Перчаткин.— Я же еще молодой... Где мне?

— Женатый?

— Нет... Невеста есть.

— Хороша?

— А как же,—все более и более изумляясь, ответил Перчаткин,—невеста—и не хороша?.. Как же так?

Эшелон миновал волжский мост. Колеса, убыстряя ход, застучали на рельсовых стыках. Дождь усилился, сплошная седая пелена повисла над деревьями, ямами, рельсами, столбами, ступенчатая далекая волнистая, изогнутую линию лесов. Тяжелая, сырая ворона пролетела над телеграфной проволокой, состязаясь с поездом в быстроте, каркнула и отстала. Внизу по дороге тянулись телеги,—возчики в брезентовых капюшонах, иные с рогожными мешками на головах. А дальше виднелись поля с пятнами раскинутых по холмам деревень, с коровами, укрывшимися от дождя в оврагах, с крохотными черными точками людей, перебежавших с винтовками в руках от ложбинки к ложбинке—шло обучение роты какой-то

резервной части. Октябрь. Холодно, сыро; шумит дождь, постукивают колеса.

— Хорошо!—с удовольствием сказал Перчаткин. Настала очередь изумиться Петру.

— Что хорошо?

— Земля хороша!—ответил Перчаткин.—Ишь, какое жнивье, урожай был богатый. Вот сколько ни едем, а все земля хороша! Считать, тысяч пять километров проехали, и всюду красиво...

— Что же тут красивого?

— А как же!—сказал горячо Перчаткин.—Леса да поля... Все ровно... И речки хорошие... Красота!

Вечером на небольшой станции повстречали первый эшелон с эвакуируемым из Москвы заводом. На платформе стояли засыпанные мокрым снегом станки—снегом в том году был ранний, обильный. Громоздился тронувшиеся в дальний путь динамомашинны, прессы, двухгорбые и трехгорбые бугры каких-то стальных громадин, покрытых брезентом. За платформами следовали теплушки—в них размещались рабочие с семьями. Здесь сквозь щели дверей поблескивали огоньки, из самодельных труб валил черный, тяжелый, казался, сырой, дым. Слышался детский плач и глухая, как осень, мелодия баюканья. Кто-то кричал:

— Санька! Где чайник, а? Куда чайник-то подевал? Это игрушка тебе, да? Пить хочется!

Бойцы обступили рабочих, одетых в замасленные спецовки, словно и здесь, в далеких снежных степях, на колесах, среди ртких станков с их следами выломанного бетонного пола на стальных подошвах, продолжалась какая-то работа, какой-то производственный ритуал, как и там, на далеком опустевшем московском заводе. Слышались возгласы:

— Ну, как в Москве?

— Давно из Москвы?

— Где немцы?

Ответы сыпались со всех сторон. Молодая высокая девушка в синих байковых лыжных штанах и в берете звонко крикнула с платформы:

— Бейте немцев, бойцы! Не пускайте в Москву.

— А зачем их пускать?—отвечал один из бойцов, Зинялкин, весело и с удовольствием глядя на девушку.—Отобьем! Только, девчата, условие наперед: благодарность будет?

— Будет... Варежки свяжем,—сказала толстуха, стоявшая рядом с той, в синих штанах.

— Легко цените,—ответил сразу Зинялкин под общим смех.—Дело кровавое, поцелуя стоит.

Воинский эшелон тронулся, и Зинялкин, подпрыгивая на ходу за уплывающей ступенькой, кричал:

— Так как же? Условились?

— Условились,—смешливо и весело донеслось из черной осенней мглы.

Зинялкин вскочил на подножку, подтянулся, влез в теплушку, и долго еще смеялись и похлопывали его по плечу бойцы, вспоминая весь этот разговор: острый парень, как ерш,—его не подцепишь.

С утра встречные эшелоны с эвакуируемыми потекли нескончаемым потоком. Это были длинные эшелоны, столь же пестрые, разноцветные, как и их пассажиры. Двигались заводы, учреждения, исследовательские институты, академии, электростанции, автомобили, огромные, похожие на слонов, троллейбусы с их длинными черными, беспомощно болтающимися усами и с неснятыми табличками «№ 2—Ржевский вокзал».

Некоторые эшелоны состояли из теплушек, дру-



гне из дачных вагонов, третьи из вагонов подмосковной электрички. Вести, рассказываемые пассажирами, были сбивчивы, опровергали друг друга, становились все тревожней и тревожней. Говорили, что немцы взяли Можайск, подходили к Голицыну, но их отбили; потом выяснилось, что нет, не отбили, и немцы взяли Звенигород; затем утверждалось, что все же отбили, но Звенигород взят, и не только Звенигород, но и Клин и Солнечногорск, и вражеская разведка приблизилась к Химкам. На одной из станций, в очереди за кипятком, какой-то человек божился, что он только что из Москвы и что Москва вчера вечером занята немцами. Человека этого задержали, повели к коменданту, где выяснилось, что он из Орши, был у немцев, и немцы отпустили его для свидания с какими-то родственниками в Москве. Бородатый низкорослый тридцатилетний боец, приведший этого человека к коменданту, медленно и веско говорил, слушая рассказ:

— Шпион... как есть шпион...

Тот набросился на него:

— Кто шпион? Ах, ты!..

— Ты не ахай!.. Шпион!..

Человека арестовали.

А воинский эшелон все шел и шел на запад, изредка делая короткие остановки. Миновали Рязань. Вот и подмосковные дачи. Пустые платформы, заколоченные окна, голубые лодки, сиротливо покачивающиеся у безлюдных пристаней. На одной из платформ мороженщик, словно ненастоящий среди этой пустоты, словно извлеченный из чего-то давно миновавшего, кричал:

— Эскимо! Шоколадное!

И все тот же боец, по фамилии Кройков, который

заподозрел шпиона в человеке, рассказывавшем о за-  
нятии Москвы, снова хмуро и злобно сказал:

— Тоже, небось, шпион... Или так—дурак... Ши-  
колад!.. Пашел время!

На глухой станции началась выгрузка дивизии. В холодной темноте—хотя было не больше семи часов вечера—выкатывались с платформ орудия, пулеметы, автомобили, выпрыгивали из теплушек и, построясь, отходили в ближний лесок бойцы. Здесь были вырыты землянки. Эти землянки были вроде как бы проходные: вновь прибывшие части занимали их не более одной ночи, и глаз, привыкнув к темноте, отмечал неясные, случайные следы, как бы борозды от движения многих тысяч людей, почевавших тут, куривших, чинивших шинели и гимнастерки, писавших письма, чистивших сапоги. Окурки в углу, банка из-под ваксы с нарисованным на крышке радостным человеком со щеткой в руках, три мелких монетки на столе, обломок карандаша, тряпка, газета и брошенный кем-то исписанный лиловыми чернилами листок,—видимо, черновик письма.

«Настя! Мы проехали пять тысяч километров, а потом еще много прошли и теперь идем бить врага штыком и пулей.

Настя! Ты думай обо мне, и пусть сынок помнит обо мне, а я как вернусь, проживем счастливой жизнью.

Настя! Скоро мы выгоним немцев и вернемся назад. Настя! Ты думай обо мне, как я думаю о тебе. И пусть сынок помнит, как я его помню. А я как вернусь, будем жить счастливо...»

Разместив своих людей, лейтенант Петр Котельников ютпросился у командира на несколько часов в Москву, к сестре. Попутный грузовик подвез его

до заставы, и так, пересаживаясь с трамвая на трамвай, он добрался до Дворца Советов.

Город был темен и пуст. Сильно били зенитки,— в небе вспыхивали золотые острые звезды, но тревога не объявлялась. Днем прошел снег, и теперь на тротуарах и мостовых стояли лужи; пахло той холодной пронзительной снежной сыростью, в которой нет ни осени, ни зимы.

Посвечивая походным фонариком, Петр старательно обходил лужи,—сапоги на нем были мягкие, хромовые, те, что называют «жениховскими». Когда он подходил к знакомому переулку, в небе зажегся желто-оранжевый свет и где-то далеко, за Садовой, отчетливо выступили вдруг очерченные резкими тенями силуэты зданий: немецкий самолет сбросил осветительную ракету. Сильней загрели зенитки, отовсюду по направлению к ракете, повиснувшей в небе, как лампа, протянулись синие, зеленые, красные дупочки трассирующих пуль. Ракета погасла. Тревога попрежнему не объявлялась,—видимо, летал одиночный разведчик.

Петр свернул в переулок. Темно. «Цел ли дом?»—тревожно и нетерпеливо подумал он.

Дом был цел. В этом доме он жил десять лет, еще ребенком знал эти камни, ворота, дворы; после призыва в армию в его комнате поселилась сестра Оля, студентка первого курса.

Петр осветил фонариком темный ход, сразу почувствовал знакомый запах керосина, кошек, древней, лежалой пыли, борща и постучал в дверь. Никто не отвечал.

— Что за оказия?—пробормотал он.

Он постучал еще раз изо всех сил, даже задрезали окна.

Послышались шаги. Незнакомый голос окликнул:

— Кто там?

— Свой.

— Кто свой?

— Свой, Котельников. Брат Ольги Сергеевны.

— Какой брат? У нее брата нет.

— Есть! Вот я ее брат.

— Пет у нее брата! Кавалеры есть, брата нет.

Петр сказал:

— Послушайте, я ее брат, командир, еду на фронт. Откройте.

— Пет ее,—сказал голос,—она уехала укрепления копать. Вот придет, тогда приходите.

— Уехала,—произнес огорченно Петр.—Ах, черт побери, незадача... Пустите, я ей письмо напишу.

— Пет, без нее нельзя.

— Да кто-нибудь есть из старых жильцов?—сердито крикнул Петр.

— Старых нет, одни новые... Старые эвакуировались.

Петр досадливо махнул рукой и начал спускаться вниз, когда дверь скрипнула и все тот же знакомый голос окликнул:

— Послушайте, брат! Заходите!

Петр снова взошел по ступенькам. В коридоре горела синяя лампа. Петр подошел к знакомой двери. На двери висел замок.

— Ключа нет?—спросил Петр.

Опять начались препирательства. Петр доказывал, что он брат Ольги Сергеевны и, следовательно, имеет право войти в ее комнату, а жилец говорил:

— Да откуда я знаю, что вы брат? Кавалеров я видел, а брата не видел. Брата в природе не было.

Наконец он сдался и вынес ключ. Петр вошел

в комнату. Она показалась ему очень маленькой, тесной. Справа попрежнему стоял его, Петра, шкаф, а рядом с окном висело, как и пять лет назад, его зеркало. На столе виднелась шкатулка. Петр сел за стол и открыл шкатулку. Здесь была разная мелочь: катушка ниток, иглолка, зубная щетка, пуговицы, два посовых платка, неразвернутая конфета, три фотографии. Первая фотография: Оля с каким-то юношей на лодке у Воробьевых гор; Оля—в легком летнем платье, в туфлях-босоножках. Надпись на обороте: «Август 1941 года. Оля и Миша». Вторая фотография: парк, скамейка, цветы; Оля и юноша. Надпись: «Август 1941 года. Оля и Миша». Третья фотография: театральная сцена, суфлерская будка, неестественные резкие очертания теней, дама и кавалер в молюеровских костюмах. Надпись: «Август 1941 года. Оля и Миша».

«Да кто такой этот Миша?—с недоброжелательством подумал Петр.—И при чем тут сцена? Да, да,—вспомнил он,—она писала, что хочет стать актрисой. Вот еще чепуха! Дочь Сергея Сидоровича Котельникова—и вдруг актриса! И кто такой этот Миша?»

Он обмакнул перо в чернильницу и написал на обороте одной из фотографий:

«Был у тебя и не застал. Еду на фронт. Теперь не скоро увидимся. Кто этот Миша? Целую тебя.

Твой брат Петр».

Вошел все тот же жилец и спросил:

— На фронт отправляетесь? Москву защищать?

— Да.

— Самое время. Немцы в Химках.

— Кто вам это сказал?

— Сегодня на рынке колхозница говорила.

— А вы не верьте!—сердито сказал Петр.—Мало ли что врут. Надо бороться, а не сплетни слушать!—вдруг бешено крикнул он.—Прощайте!

Он вышел на улицу. Жилец затворил дверь, потом вошел в комнату Оли и остановился около комода, на котором лежала шерстяная шаль. Эта шаль жильцу очень нравилась. Ему очень хотелось взять ее себе, но он боялся возвращения Оли. Он решил взять шаль, когда немцы возьмут Химки. Сегодня Химки как будто взяты? Но, может быть, на рынке брехали?! Брехали или не брехали? Он взял в руки шаль и погрузился в глубокое раздумье.

## Глава 2

Солнце еще только встало, когда рота Петра спешилась и походным порядком, погромыхивая котелками, разбрызгивая сапогами снежную слякоть, двинулась к передовым. Сзади на повозках помещались пулеметчики, а на других повозках, растянувшихся в перелеске, ехали солдатские сундуки и мешки с громоздившимися на них, сдвинувшими пилотки набок, спокойно и равнодушно курившими обозными.

Утро выдалось ясное, воздух был чист и прозрачен, и всей роте,—от высокого белокурого Перчаткина, шедшего в первом ряду и легко и уверенно несшего тяжелую выкладку, до тридцатилетнего угрюмого бойца Кройкова, того самого, что заподозрел в мороженщике шпиона,—было весело и приятно идти.

Отличное утро, свежий, солнечный синеваато-оранжевый мир создавали в мыслях и теле ощущение радостного спокойствия, безопасности, порядка, легкости предстоящих дел. Самое движение на передовые позиции, самое сближение со смертью—час, о кото-

ром столько думалось за последние месяцы,—казалось простым, спокойным, чуть торжественным. Уверенность в невозможности для врага смять, разбить, уничтожить людей, столь разумно, весело и размашисто шагающих по дороге, билась в сердце каждого бойца.

«Леса-то, леса!—думал Перчаткин.—Вот оно как тут, под Москвой. Хорошо!.. Избы отличные, огороды... Холмы... Как же тут комбайном работать,—небось, намаешься! Да тут и комбайнов-то нет, все, надо быть, электричеством, как в журнале»,—с уважением подумал он.

На дороге работали девчата. Когда рота шла мимо них, они оперлись о лопаты и, усмехаясь, задорно глядели на проходящих. Одна из них, маленькая, в сапогах, в пестрой, вздымающейся от ветра юбке, крикнула, указывая на Перчаткина, который шел, увлеченно и задумчиво глядя по сторонам:

— Ох, и длинен же! А уж и костляв, девчонушки!.. Наколешься!

— Только б не занозилась!—тотчас ответил Зинялкин.

Бойцы так и грохнули смехом и, уже уйдя далеко вперед, свернув с большака на широкую, вытоптанную среди кустарника, дорогу, все еще переговаривались, улыбались. И хотя нашелся ответом один лишь Зинялкин, всем было приятно и весело сознавать, что вот, мол, какие они задорные, боевые ребята, за словом в карман не лезут, их, мол, не задирай!

В последнем селе, километрах в трех от переднего края, бойцов ждала кухня. Повар, в пилотке, в керзовых сапогах и в белом халате, стоял, растопырив ноги, на грузовике и огромной ложкой разливал

щи. Его помощник быстро и ловко нарезал хлеб. Бойцы, получив еду, отходили, садились на траву, вынимали ложки из-за голенищ и, громко переговариваясь, подставляли под ложки хлеб, чтобы не пролить щи.

Кройков зашел в избу: он был человек хозяйственный, неторопливый и решил поесть за столом.

— Здорово, хозяйка!

— Здравствуйте...

— Посидеть-отдохнуть можно?

— Да милости просим.

— Бери ложку, садись вместе обедать.

— Еще что!—сказала хозяйка.—Ты, боец, маешься, кровь проливаешь, тебе паек дан... Буду я тебя обедать!

— Садись, садись!..

Хозяйка села, но обедать не стала. Съев щи, приступая к каше, Кройков огляделся по сторонам:

— Изба хорошая... Давно строили?

— Да только отстроились перед войной.

— Дорого стала?

— Десять тысяч отдали,—охотно и оживленно откликнулась хозяйка,—и коровник пятьсот рублей.

— Дорого!—сказал Кройков и мельком оглянул потолок.—Изба половищу стоит.

— Половищу?—обиженно протянула хозяйка.—Враз половищу! Ишь ты, какой дешевый!..

— Переплатили,—без горячности возразил Кройков.—Ты мне не говори,—я плотник,—переплатили!..

Он встал, обошел стены, внимательно всматриваясь, простукивая бревна согнутым указательным пальцем.

— Муж где? На фронте?

— На фронте.



— Партийный?

— Чего?.. Беспартийный.

— А сама-то партийная?

— Кто это? Я?

— Ты.

— Я-то сама беспартийная,—озадаченно ответила хозяйка.

— Маркса, Энгельса не читала?

Хозяйка казалась совсем сбитой с толку.

— Откуда мне?

— Так-так-так,—сказал Кройков, наклоняясь, оглядывая пол и пробуя ногой его прочность.—А я, тетка, партийный.

— Ты партийный?

— Партийный. А что?

— Да так,—в замешательстве протянула хозяйка,—не похоже... И по шинели и по разговору.

— Шинель как есть шинель,—недовольно сказал Кройков,—и разговор как есть разговор...—Он надел пилютку, подвизал котелок, засунул ложку за голенище.—Прощенья просим!.. А за избу переплатили!

Петр сидел в избе и обедал, когда вошел боец Милкин, охранявший штаб роты.

— Товарищ лейтенант! Вас гражданочка требует.

— Какая гражданка?

— Обыкновенная. В сапогах, с пистолетом.

— Впусти сюда!

Вошла белокурая девушка, обутая в огромные сапоги, в гимнастерке, измазанной глиной, с черными от грязи руками. Она остановилась у двери, шаркая подошвами о рогожку, чтобы стереть с них грязь, решительно и смело глядя на Котельникова.

— Вы не брат Ольги Сергеевны Котельниковой?

— Брат. А что?

— Так поздравляю вас,—она здесь, недалеко, в рай боchem отряде... Вместе с пей землю копаем.—Девушка с размаху села на табуретку и вытянула ноги, обутые в сапоги.—Послушайте, у вас легкий табак есть?

— Есть!—все более удивляясь, сказал Петр.

— Так угостите... Третью неделю махорку тяну.

Петр полез за кисетом и, пока девушка лихо свертывала цыгарку, следил за каждым ее жестом.

— Да как вы-то узнали, что я тут?—наконец спросил он.

— Голову на плечах имею,—с достоинством отрезала девушка.—Спички есть? Спасибо. Ничего, если я возьму всю коробку? Спасибо... Я за гравием еду в Кубинку. Остановились здесь, машина испортилась шофер—барахло... Слышу: два бойца говорят про лейтенанта Котельникова, ну, я подумала, не Олимп ли брат...

— Да как Оля-то?—заволновался Петр.—Что с пей? Как здоровье?

— Оля?—протянула немного небрежно девушка.— Оля есть Оля. Жизни в ней мало! Все лупа да цветы.. Стихи пишет!—со смехом выкрикнула она.—Вот влюбилась... Разве время, скажите, разве время?

— В кого это?—Белокурая девушка определенно раздражала Петра.

— В Мишу какого-то. Такой же малокровный, как и она. Тонкие ножки! В общем—не дело!.. Послушайте, вы здесь это обмундирование получили?

— Нет, не здесь.

— Хорошее обмундирование,—с завистью сказала девушка.—Вот бы мне такие штаны. Мечта! У вас байковые портянки есть?

— Есть.

— Поменяемся!—с жаром воскликнула девушка.—

Я вам за них две пары полотняных дам... Поги мерзнут, честное слово!—Она помолчала и спросила:— Вы никаких новостей не слышали?

— Нет.

— Ваш отец сильно болен... Оля письмо получила. Можно чайку попить? С вашим сахаром?

— Болен?—огорченно переспросил Петр.—Пейте!—сказал он машинально.

«Как же так—болен? Такой сильный старик, никогда не болел»,—думал он, недоверчиво и сердито глядя на белокурую девушку.

— А вы точно знаете, что болен?—резко спросил он.

— Не огорчайтесь!—сказала белокурая девушка, прихлебывая чай.—Надо на жизнь смотреть просто. Мало сейчас убитых? Все мы под смертью ходим. Слюни пельзя распускать!

— Спасибо за поучение,—ненавидястно промолвил Петр.

— Не за что! Еще сахар есть? Отлично! Что Ольге передать?

— Я ей сейчас письмо напишу. Подождете?

Она кивнула головой. Он присел к подоконнику и стал набрасывать письмо карандашом на листке блокнота, косясь на ненавистную девушку, которая, окончив наконец пить чай, занялась разглядыванием своих сапог, отколупывая грязь, присохшую к голенищам.

«Любимая Оленька!—писал он.—Я был у тебя в Москве и не застал. Как я был счастлив окунуться в атмосферу твоей комнаты, где все напоминает тебя...»

«Какие глупости я пишу!—подумал он, косясь на белокурую девушку.—Действительно луна и цветы!»

«Оленька!—продолжал он писать.—Что с отцом? Да как это он захворал? Помнишь, какой он был огромный, ходил в длинном пиджаке и синей косоворотке?»

«Нет, ерунда!»—в отчаянии подумал он. Не было решительно никакой возможности изъясниться в родственных чувствах в присутствии этой белокурой. Он опять обмакнул перо: «Кто эта довольно начальная девица, которая выдает себя за твою подругу?»—написал он. И как только он написал это, строки вдруг потекли легко, свободно, и он, злорадно и мстительно косясь на белокурую девушку, в минуту заполнил две страницы острыми, язвительными замечаниями по ее адресу, по адресу дур и туниц, которые воображают о себе нивесть что. Окончив писать, он сложил вчетверо листок и сказал:

— Передайте. Надеюсь, читать не будете?

— Не буду,—равнодушно ответила девушка,—я своих-то писем не читаю, а то чужие буду читать... Прощайте... Кстати, на всякий случай: меня зовут Варварой Окновой.

— Счастлив это услышать.

— Счастливы или нет, а так зовут... Прощайте. Ну что же, портянками будем меняться?

Не получив ответа, она вышла решительными шагами, стуча подковами сапог, и слышно было, как дежурный Зинялкин сказал в сенях другим бойцам:

— Ну и девка! Аж половица гнется. А кулак-то какой! Как вдарит! Мой вкус!

И опять, как всегда, когда отпускал шутки Зинялкин, бойцы смеялись и хлопали его по спине: не парень—заноза, с ним не соскучишься.

В сумерках рота подошла к передовым. Она сменяла роту, бессменно сражавшуюся вот уже де-

сять дней. Сменяемые бойцы вылезали из блиндажей, из траншей и строились в лесочке. Лица у них были закопченные и лоснились от пота. Шинели были грязные, порванные, нередко с выгоревшими дырами—от костров.

— Ты как же? В шинели яичницу жарить?—спросил Зинялкин одного из этих бойцов.

Но, несмотря на то, что шутка казалась Зинялкину отличной, никто из бойцов не ответил ему, и даже свои, ротные, не засмеялись.

Быстро темнело, пошел дождь. Земля скрылась в тумане—неясная, бугристая земля, изрытая окопами, оплетенная колючей проволокой, усеянная минами. Вдали виднелось какое-то темное пятно—подбитый танк.

Ночь прошла спокойно, а на рассвете налетели немецкие бомбардировщики, и справа, из-за холма, стреляя шрапнельными снарядами, переваливаясь на рывтинах, показались немецкие танки.

Это был удар мотодивизии генерала фон Шутте, удар, который, с одновременными ударами на севере и на юге, должен был, по плану немецкого командования, привести к захвату Москвы.

### Глава 3

Ольга Котельникова, сестра Петра, действительно писала стихи и мечтала стать актрисой. Она только в этом году окончила среднюю школу и в августе, одновременно с экзаменами в вуз, держала экзамены в вечернюю театральную школу.

Испытания в театральную школу происходили в одном из профсоюзных клубов Москвы. Экзаменуемые сидели в полутемном зале, пахнущем лаком

и театральной пылью, а экзаминаторы—на сцене, за длинным столом, на фоне написанных на холсте замков, озер и двух пестрых, похожих на кур, лебедей.

Один за другим выходили на сцену юноши и девушки и читали басни, стихи и прозу, а экзаминаторы, занятые обсуждением военных сводок, горячо перешоптывались друг с другом и только иногда отвлеченные от этого дела каким-нибудь громким возгласом декламатора, всматривались в него, щурились близорукие глаза и значительно покачивая головами.

Пришла очередь Ольги. Она вышла на сцену и смущенная полутьмой, необычностью обстановки и тем обстоятельством, что в этот самый момент капельдир громко бранил какого-то гражданина за неправильно развешанные афиши, а тот отвечал: «Да наше дело простое: клей есть, стены есть, мы и клеим» едва слышно промямлила басню «Квартет». Потом, немного освоившись, уже лучше прочла стихи Маяковского. А когда дело дошло до прозы, совсем увлеклась и прочла отрывок из «Мертвых душ» с такой силой и выразительностью, что председатель комиссии прервал на секунду обсуждение иранских событий и шепнул своему соседу, прославленному актеру:

— А не плохо, ей-богу!.. И голос хорош, а?

На что знаменитый актер, с трудом оторвавшись от иранских дел, отвечал:

— Гм!.. Да... Пожалуй... Кхе!.. Гм!..

Оля была принята в театральную школу и в вуз. Оставался месяц до занятий. В это время начались бомбежки Москвы с воздуха. Оля, жившая недалеко от Кропоткинских ворот, ходила во время воздушных тревог в метро. Сюда, под вой сирен, под глухой грохот дальнобойных зениток, спускалось много народа.

Люди шли с мешками и рюкзаками, в которых лежали одеяла, подушки, кое-какое белье и несколько завернутых в бумагу бутербродов. Люди двигались по тоннелям, оседали на пропитанных мазутом камнях, между рельсами, возле покатых и гладких стен. Стекли одеяла, газеты, клали на рельсы подушки, разувались. Вскоре многие уже спали, в то время как другие жевали бутерброды или же нянчили детей под монотонный гул автоматических пушек.

Здесь-то Оля и познакомилась с Мишей. Случилось однажды так, что они разместились рядом, между рельсов, возле гладкой холодной стены, за которой мерно и монотонно журчала по трубам вода. Оля, накинув на плечи пальто, читала книжку. Миша лежал на спине и искоса поглядывал на Олю. Ему очень хотелось заговорить с ней, но он никак не мог решить, с чего начать. Сказать: «Фугаска упала!»—девчонка могла это счесть за трусость. Сказать: «Сегодня погода испортилась!»—пошлость! «Вы далеко отсюда живете?»—пошлость! «А здесь совсем не так жарко, как в метро в Охотном ряду»,— снова пошлость! Пет, надо что-нибудь спокойное, солидное. Наконец он спросил:

— Читаете?

Она с удивлением подняла голову.

— Да, читаю.

— А рядом мама спит?

— Пет,—удивленно сказала Оля,—какая мама?

Просто гражданка. Я ее и не знаю.

— Вот как? Вы что читаете?

— Гамсуна.

— А Алексея Толстого читали?

— Читала.

— И в кино ходите?

«Бух!»—раздалось неподалеку, стены и рельсы дрогнули, и все спавшие зашевелились и забормотали; где-то рядом упала фугаска.

— Конечно, хожу,—ответила Оля.

— Вот как,—с удовлетворением сказал Миша.— Давайте знакомиться, я тоже люблю читать... Михаил Скородов... Я техник, работаю на заводе. Мне очень хотелось бы с вами встречаться...

Оля поднялась и собрала свои вещи.

— Куда вы?—спросил Михаил.

— Знаете, мне очень хочется читать,—сказала Оля,—разговоры меня отвлекают. До свиданья.

— До свидания,—пробормотал Михаил.

Она ушла. Несмотря на столь неожиданный афронт и на то, что Михаил счел себя очень обиженным и в течение всей тревоги старался забыть об Ольге, голубые Олины глаза и слегка вздернутый Олин носик витали перед его умственным взором и не давали покоя. И когда через несколько дней снова была объявлена тревога, он чуть ли не первым ринулся в тоннель и стал искать Ольгу. А когда нашел, то сказал:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте.

— Мы с вами знакомы. Помните?

— Не припоминаю.

— Гм... Как же так? Тут познакомились, в этом тоннеле...

— Возможно.

— Видите ли, мне очень хотелось встретить вас, я все время думал о вас и вот наконец увидел... Куда же вы?

— Знаете, мне очень хочется читать,—сказала Ольга,—разговоры меня отвлекают...



И ушла. И хотя это был второй афронт, да еще горше первого, и хотя Миша в свои двадцать два года считал себя очень гордым, Оленькины нос и глаза попрежнему витали перед его умственным взором, не давая покоя. И во время следующей тревоги он опять заговорил с Олей, и потом опять, и опять. В конце концов они разговорились.

Этим разговорам сильно мешала Варвара. Варя работала швеей на фабрике, училась в техникуме коммунального хозяйства, была соседкой Оли по переулку и доброй ее знакомой. Ходила она широкими, тяжелыми шагами, говорила громко и резко. Особенно не любила она любви. В частности, принципиально отрицала какую бы то ни было любовь, пока женщина не окончит вуза и не станет самостоятельной. В коммунальном техникуме Варя специализировалась по водопроводу и канализации и очень гордилась этим.

Мишу она возненавидела. Это был, по ее мнению, один из тех хлюпиков с галстучком, в туфельках, с синими глазками и «прочим маринадом», которых она терпеть не могла. «Барашек»,—звала она его. Она утверждала, что ему очень подошел бы колокольчик на шею. Миша сердился, старался говорить Варе дерзости, да такие, которые проняли бы даже ее, толстокожую. Но не удавалось. Варвара всегда побеждала в этих словесных турнирах. «Барашек, кремсода, аютины глазки»,—звала она его. Но странное дело: Варвара гвоздила Мишу всей мощью своего свирепого языка, а Оле он нравился все больше и больше. «Да как же это я не обратила на него внимания с первого взгляда?»—удивленно думала она.

Понемногу их свидания стали длительней и интересней; Ольга нашла случай избавиться от Вар-

вары на время воздушных тревог. Миша, записавшийся в осодмиловцы, водил Ольгу, пользуясь своей голубой повязкой, по всем тоннелям метро, и они говорили друг другу те незначашие и глуповатые для постороннего уха слова, которыми отмечены речи возникающей, равно как и отцветающей, любви. И однажды, начав путешествие по тоннелям у Кропоткинских ворот, они поцеловались далеко-предалеко, где-то в пустом тоннеле возле Сокольников.

Стоял сентябрь месяц. Это был странный, лихорадочный месяц первого года военной Москвы. По улицам пробегали грузовики с эвакуируемыми женщинами и детьми, ночами по асфальту, мимо магазинов с прикрытыми фанерой и песком витринами, двигались танки, пехота, артиллерия—на фронт!

Но театры действовали попрежнему, и после спектакля зрители расходились по домам в абсолютной тьме, протянув вперед руки, чтобы не налететь на стены.

Семьи разъехались; люди, оставшиеся в городе, ходили по-трое, по-четверо ночевать к приятелям, инстинктивно стремясь провести сообща тревожную темную ночь. Осень выдалась ранняя, было дождливо и холодно.

Весь этот месяц Оля и Миша не разлучались. Миша работал на заводе и тут же по окончании работы спешил в переулок, где жила Оля. А Оля уже ждала его и все подходила к окну и все глядела на тротуар, где, как всегда в минуту нетерпеливого ожидания, мелькали во множестве быстрые и медленные, сердитые и веселые, рослые и приземистые прохожие,—только не тот, кого ждешь.

Но вот прибежал Михаил, и они отправлялись гулять. Гуляли они в Сокольниках, может быть,

в память того, что здесь, где-то в тоннеле, они в первый раз поцеловались. В Сокольниках было пусто, мелкий дождь падал на ели, на траву, на плакаты прошлогоднего кросса, на все эти голубые киоски, веранды, эстрады, оставшиеся от довоенного времени. Но Оля и Миша шли, подставляя свои спины и головы под дождь, среди золотого мертвого шума листьев, и говорили друг другу о своей любви, и прерывали этот нескончаемый, пылкий и монотонный, как праздничный жаркий летний день, разговор лишь для того, чтобы поцеловаться.

Оля слушала Мишу, затаив дыхание. Он казался ей умницей и красавцем. На самом же деле он был некрасив, довольно тщедушен, хотя и считался одним из лучших лыжников на заводе, где работал чертежником. Да и об уме его можно было поспорить, хотя это был единственный предмет, о котором Миша никогда не спорил. Вообще же он спорил всегда, со всеми и обо всем. Он много читал, говорил с апломбом, веско, авторитетно, заносчиво и терпеть не мог возражений. При этом, о чем бы он ни говорил—о солнце, о реке, о птицах, о звездах, о тонке печей, о починке башмаков,—он говорил о себе.

Придя домой после свиданья с Олей, Миша тут же садился писать ей письмо, где неизменно говорилось о том, чего он во время прогулки не успел ей высказать, где была уйма знаков препинания и пламенных описаний природы, осени и любви. Это письмо он лично вручал ей на следующий день перед прогулкой, и она читала его ночью,—никогда не приходилось ей читать ничего более прекрасного.

Так продолжалось весь август и сентябрь.

Первыми начались занятия в театральной школе. Собранных учеников встретил учитель мимики. Он

начал свой урок с того, что похвалил театральное искусство вообще и искусство актера в частности. Актер, сказал он, мастер, играющий на струнах человеческой души. Далее он остановился на мимике, которая, по его словам, является краеугольным камнем актерства. Было время, сказал он, когда актер работал одной лишь мимикой. Это время больше не повторится, но мимика осталась фундаментом сцены. Надо построить фундамент, прежде чем строить здание. Начиная со следующего урока, он покажет ученикам простейшие примеры мимики, и таким образом начнется работа по возведению фундамента. До следующего раза, друзья мои!

Однако судьба сулила иное, и не только фундамент не был построен, но не был заложен даже хотя бы один из его кирпичей: учащиеся московских вузов и техникумов были мобилизованы на рытье окопов. Варя и Оля поехали вместе.

Отъезд совершился осенним вечером. Михаил, прибежавший к месту сбора, чтобы проститься с Ольгой, был так сражен неожиданной разлукой, что слова не мог вымолвить и только махал руками. Все же Оля и Миша улучили минутку, чтобы поцеловаться и поклясться друг другу в вечной верности. После этого Оля, сидя на скамейке тронувшегося в путь грузовика, видела только печальное удаляющееся пятно, смутный, ступеванный мраком и дождем силуэт Миши. Она плакала. Варя ядовито сказала: «Не плачь, он в тылу, ничего с ним не делается! Вот бы этого умника на фронт!»—и все исчезло, укрытое тьмой.

Ночью приехали к месту. Вспыхивали карманные фонари. Кто-то внизу, высунувшись из землянки, крикнул под общий смех:

— Елкин! Шею помой! Студенты приехали!

А когда один из вузовцев, спрыгивая с грузовика, поскользнулся и упал на землю, тот же голос задорно произнес:

— Тилигентные ножки!

Варя сердито крикнула:

— Эй ты, остряк! А ну, поостри еще! Буду бить—на луну задышишь.

Землянка грянула смехом, заговорили одобрительные голоса:

— Ай да девчушка! Отрезала! Дело знает.

— То-то же, братцы!—примирительно и удовлетворенно сказала Варя.

Первый день работы показался вузовцам бесконечным. Работали под дождем, рыли эскарп в глинистой, размокшей, тяжелой почве. Утром всем—мужчинам и женщинам—выдали одинаковые огромные сапоги, и Варвара долго пререкалась с кладовщиком, говоря, что сапоги не те да и портянки не подходящи. Остальные девушки приняли эти сапоги покорно и безропотно, как судьбу.

От сапог, покрытых глиной, было такое ощущение, будто ноги прилипли к земле; от работы лопатой и ломом болели руки, плечи, спина; дождь обрызгивал волосы и лицо желто-черными расплывающимися каплями, и когда Оля вернулась после работы домой в землянку и посмотрела на себя в карманное зеркало, то сказала:

— Ох, до чего же я страшная!

И заплакала.

Прошло много дней. Оля постепенно освоилась с работой. Часто по ночам она просыпалась и долго глядела в сырую земляночную, пропитанную запахом мокрой одежды, темноту. Вся ее прежняя жизнь—

Москва, вуз, экзамены, комната на Кропоткинской, Сокольники, Миша—казалась ей такой бесконечно далекой, давно прошедшей, что удивило одно: как еще память хранит все это, какова упорная, неистребимая лирическая сила памяти! Однажды, проснувшись, она вдруг отчетливо вспомнила театральную школу, урок мимики и слова учителя о том, что мимика—это основа основ для актера.

«А может быть, и не основа»,—подумала она вдруг, и этот урок мимики сейчас, после дней, проведенных здесь, показался ей странным и диким, словно танец гиппопотама.

Дни шли за днями. Миша слал письмо за письмом: после разлуки его лихорадочная жажда писать увеличилась раз в десять. Каждый день, а то и по два раза в день приходили письма, где описывались природа и чувство. Варвара, принося их Ольге, говорила хмуро и ядовито:

— Держи! Опять твой Писемский пишет!

Сама-то Варвара работала отлично. За дерзкий, веселый нрав ее знали и любили во всех окрестных рабочих и саперных батальонах. Она менялась с бойцами сапогами, ватниками, пришивала им пуговицы, мастерила вместе с ними в землянках столы и полки и умела так ответить на любую шутку и особенно на заигрыванье, что ее словечки передавались из отряда в отряд под смех и возгласы:

— Ай, девка! Это которая? Которая студент? Которая интенданта отбрила? Которая у Сизова ватник выменяла?

Вот что произошло недели за две до того, как дивизия, где ротой командовал Петр Котельников, прибыла на фронт.

В ночь на второе октября 1941 года немецким солдатам был зачитан приказ:

«Солдаты! За два года войны все столицы континента склонились перед вами, ваши знамена шумели по улицам лучших городов Европы. Вам осталась Москва. Вот она—перед вами! Возьмите ее! Заставьте ее склониться—это последняя столица Европы, которая еще не принадлежит вам. Пройдите же и по ее площадям. Москва—это конец войны. Москва—это отдых. Вперед!»

На рассвете около двухсот танков последовательными эшелонами двинулись в стык двух наших армий, оборонявших столицу с запада. Было хмурое осеннее утро, боевые охранения, первыми заметившие врага, подали соответствующие сигналы своим подразделениям и вступили в бой, постепенно оттягиваясь, чтобы дать простор противотанковому оружию. Загремели пушки, бронебойные ружья, гранаты. Наши танки, весьма малочисленные, выступили навстречу немецкой лавине.

С холма, где разместился в тот памятный день командный пункт дивизии, был отчетливо виден этот утренний танковый бой—стальные коробки, стремительно маневрирующие, то приближающиеся почти вплотную друг к другу, то расползающиеся по сторонам. Некоторые из них останавливались на месте, накренившись, не переставая стрелять,—подбиты! Гул пушек, резкая дробь пулеметов. Возле леса, сначала едва заметно, потом все более и более ярко, раз-

горелись три огромных костра—подоженные танки. Море огня: в тумане казалось, что горит весь лес. А в переливающимися огненных отблесках колыхались отдельные шевелящиеся, как бы бесконечно выливающиеся откуда-то пятна: немецкая атакующая пехота. Все ближе и ближе бой, вот уже где-то рядом, в лесу, загремели выстрелы.

Наши бойцы были подготовлены к тому, что решительный бой за Москву вспыхнет со дня на день, и начали сражение стойко и спокойно, в том отличном для военного дела состоянии духа, когда вооруженному человеку, встречающемуся с атакующим врагом, все кажется легким, простым, даже веселым, а сам он себе сильным, задорным, озорным.

Первые немецкие атаки были отбиты легко. Но немцы не только не прекращали атак, но, напротив, усиливали их, между тем как наш артиллерийский огонь ослабевал, а снаряды полковых противотанковых пушек иссякали. Налетали немецкие бомбардировщики—волна за волной, но нашей авиации все еще не было над полем боя, а когда наконец показали наши истребители, то «Юнкерсы» испарились и вновь появились через минуту после того, как «Миги» ушли на заправку.

К концу дня немецкие танки прорвали нашу линию обороны, вырвались на оперативный простор и, обтекая отдельные очаги сопротивления, устремились вперед. Они шли ускоренным маршем по дорогам, среди осыпающихся осенних лесов, мимо деревень, где население, застигнутое врасплох, не ожидавшее их прихода, принимало их за свои, советские танки. Немецкие танкисты, веселые, уверенные, поедали яблоки, высовываясь из башен, и с ходу подстреливали кур и гусей—на обед. Вскоре новый приказ был зачитан им:



«Солдаты! 90 километров осталось до Москвы. Поход близок к концу. Еще усилие—и вы у цели. Перед вами теплые зимние квартиры, благоустроенный европейский город и слава. Я требую от вас не больше того, что вы уже сделали. Вперед!»

Шестнадцатого октября, ранним утром, танковая группа фон Шутте, легко продвигавшаяся на восток, натолкнулась на жестокий контр-удар, была отброшена и, словно шар, с размаху налетевший на стену, завертелась на одном месте.

Этот контр-удар нанесли новые части, только что прибывшие и образовавшие под Москвой заслон. В числе их была дивизия, где командиром роты состоял Петр Котельников.

Дивизию бросили в бой с марша. Поздно вечером рота, которой командовал Петр, заняла позиции. В полночь Петр, закончив все телефонные разговоры, окончательно отработав и утвердив план обороны, усталый, похуевший, взволнованный всеми впечатлениями дня, стал обходить траншеи. Шел сильный дождь, и во тьме и дожде бойцы роты, многие из которых были известны Петру вот уже несколько лет, казались в своих касках и полной амуниции какими-то странными, незнакомыми, настолько необычными, что Петр с невольным удивлением вглядывался в них. Понемногу глаз привык к темноте, и Петр стал различать отдельные лица.

«Да неужто это Сафонов?—говорил он себе.— А тот Лузарек? А это Лобакки? Вот они какие на войне... И в лицах что-то другое...»

Он шел своим резким, размашистым, уверенным шагом, приветствуя каждого бойца веселым, ободряющим возгласом, и бойцы весело и бодро отвечали

ему, с удовольствием глядя на его высокую решительную фигуру.

«Вот какой у нас командир!—как бы говорил каждый взгляд.—С этим не пропадешь. И весел, и лицо спокойное—значит все в порядке...»

И Петр, идя по траншеям, чувствовал эту спокойную и радостную уверенность каждого бойца в том, что он, Петр, командир, знает, как победить врага, обдумал и решил все так, как надо, и знает что-то особенное, большое, важное, необходимое для общего благополучия и победы, чего не знает никто из бойцов. Он шагал все дальше и дальше, ощущая какое-то внутреннее удивление перед тем, что вот он, Петр, тот самый Петр, который кажется ему самому таким неуверенным и слабым во многих вещах, который любит музыку, собирает почтовые марки, обожает молоко к чаю, был голубятником и еще совсем недавно выслушивал наставления от своего отца,—теперь вот кажется всем этим бывалым людям человеком суровым и строгим, знающим и уверенным в трудном деле войны.

«Но ведь это так! Я действительно предусмотрел все возможное, обдумал все, распланировал все как надо... Я сделал так, чтобы было хорошо»,—думал он, шагая решительным шагом, и чувство нежности и любви к этим людям, уверенным в нем, как бы доверившим ему свою жизнь, судьбу своих жен, детей, все больше и больше охватывало его.

Он пришел в свою землянку в счастливом и радостном настроении и лег отдохнуть.

Перед рассветом прошел дождь, и земля, едва забрезжило, покрылась густым, тяжелым туманом. Тусклые клочья его ползли по траве и медленно поднимались вверх, наткнувшись на деревья. Земля

была сырая, осенняя, с желто-коричневыми и ржаво-красными пятнами увядания, с далекими мокрыми избами, с мутной свинцовой рекой и черными галками, летавшими над холмом.

Пулеметчики Кройков и Зинялкин сидели в пулеметном окопчике за станковым пулеметом, обращенным на запад. Окопчик был невелик и глубокий; на дне его лежали плащ-палатки, два котелка, пять банок с мясными консервами, пулеметные ленты и большой кусок сахара, аккуратно завернутый в газету. Кройков в своей длинной, не по размеру сшитой шинели, в каске, которая тоже была ему велика, стоял возле пулемета и ножичком строгал пруттик, понадобившийся для починки крышки баклажки. Зинялкин смотрел вдаль, щури глаза от надвигавшегося тумана, и тихо напевал мотив, заимствованный с патефонной пластинки, принадлежавшей дивизионному интенданту. Время шло, клочья тумана стали распадаться на нити, рассеиваться, а немцы не появлялись; где-то рядом пискнула птица, помолчала, пискнула еще раз, помолчала и вдруг зачирикала звонко и однообразно, радуясь спокойствию, тишине и общему благополучию. Зинялкин присел, свернул самокрутку и закурил, пуская дым в рукав шинели. Здесь, на дне окопа, пахло патронами, щами, сыростью, мокрой шерстью шинелей и сапогами.

— Разоспался немец-то!—сказал Зинялкин.—Чп он с девками, чи что!..

— Не балагурь! Смерть-то рядом!—сердито и тихо сказал, продолжая строгать, Кройков.

Кройков чувствовал себя не совсем уверенно. Он много наслышался о немецких атаках и сейчас, сидя в окопе, тревожно прислушивался, ожидая, что вот-вот произойдет нечто внезапное, необъяснимое, чему

невозможно противостоять, от чего страх охватит не только всех вокруг, но даже его, Крйкова, сибирского плотника, коммуниста, который решил стоять на смерть и ни за что не отступить.

«Да ерунда!—старался он думать равнодушно.— Ну что тут может случиться особенного? Болтают! Не страшней, чем у нас в Сибири в лесу, когда медведя на охоте встретишь: ведь я встречал—ничего!»

Но как он ни старался себя успокоить, все в нем было до крайности напряжено, и он вздрагивал от каждого неожиданного шума. Руки у него похолодели. На сердце тоже было зябко и неприятно.

Позиции роты пролегали по холму, и с высоты далеко и широко, сквозь расплывающуюся пленку тумана, видны были другие холмы, другие лощины в кустах и деревьях. Вот подул ветер, облака раздalisь, брызнуло солнце, и—словно это был сигнал—послышалось монотонное приближающееся гудение моторов—пятнадцать «Юнкерсов» показались над холмами, не спеша построились в круг, один из них вдруг нырнул, и несколько громающих последовательных ударов потрясли землю.

— Ну, держись! Началось!—промолвил Крйков.

«Юнкерсы» подплывали к позициям роты. Столбы земли и пламени вздыбились над холмом. Засвистали осколки камня и бомб. Заговорили фашистские пушки,—снаряды врезались в холм, дробя его, вырывая с корнями деревья, обжигая кустарник.

А холм молчал, словно ни одной живой души не было на его вершине и склонах.

Несколько десятков вражеских танков показались справа, за ними крупная группа мотопехоты. Холм молчал.

Танки остановились, как бы раздумывая, затем двинулись вперед. Холм молчал.

И только когда танки почти вплотную приблизились к завалам и проволочным заграждениям, окружавшим высоту, застучали фланкирующие пулеметы, отсекая пехоту от танков. Блеснула искра на склоне холма, за ней другая, третья—заработали противотанковые ружья. Загорелся вражеский танк. Он накренился и остановился. Остальные шли дальше. Грохот противотанковых гранат, вспышки бутылок с горючим!

То, что последовало за этим, было действительно невообразимо. Танки шли волна за волной, и сколько ни поджигали их, сколько ни пробивали снарядами, на смену им появлялись все новые и новые танки. Огненный вихрь обрушился на роту. Все шипело, свистело, дымилось. Немецкие пикировщики гудели в небе, сбрасывая расчетливо и методично бомбу за бомбой. Грохот, адский, непередаваемый горячий грохот. Казалось, дымится не только земля—дымится мозг.

Оглушенный, ослабевший, в каком-то полусознании сидел Кройков в своем окопчике. Первые четверть часа он вообще не понимал ничего и только машинально нажимал спусковой крючок пулемета. «Да, это тебе не медведь!»—в ужасе подумал он вдруг. Все—осязание, обоняние, зрение, слух—отказывалось работать, в мозгу что-то гомонило, стучало, сверкало.

Но понемногу, как всегда бывает с сильно и внезапно напуганным человеком, организм привык ко всему этому шуму и гаму, осязание, зрение, слух стали различать во всем этом хаосе его отдельные звенья.

«Отступают!»—радостно подумал Кройков, вдруг

увидев, как отошла под артиллерийским огнем немецкая пехота.

— Правильно, отступают!—радостно крикнул он, чувствуя в этом незначительном отступлении немецкой пехоты какую-то силу, укрепляющую его, Кройкова.

Он начал всматриваться,—грохот, сверканье, дым как бы отошли куда-то подальше, в глубь мозга. Кройков увидел дымящиеся танки и немецкую пехоту, отползающую к лесу.

«Так что ж тут особенного,—подумал он,—так же горят, когда их подобьют... И идут-то не очень уверенно. И даже бегут!—радостно констатировал он, увидев, как отхлынул назад попавший под пулеметы небольшой немецкий отряд.—Надо только держаться и стрелять хорошо. Вот и все!»

Несколько атак было отбито. Опять заговорила немецкая артиллерия. Пламя и пыль встали над холмом. Казалось, он перемолот, раздроблен, камень смешан с песком, с разбитыми бревнами укрытий. Казалось, ни человека, ни дерева, ни куста не может остаться в живых на этом старом горбе после такого обстрела.

Но когда немцы пошли в атаку, охватывая холм с флангов и одновременно нанося удар в центре, снова заговорили противотанковые пушки, затрещали пулеметы, автоматы.

И опять налетали пикировщики, и опять разрывались снаряды, словно немцы решили вырвать из земли этот непокорный холм. Пламя кружилось над его лысой вершиной, как над вулканом.

И снова следовала атака за атакой, и снова холм встречал врага смертоносным огнем. И опять били пушки. И опять перемазанный в глине Петр поползал из окопа в окоп:

— Держимся?

— Держимся, товарищ лейтенант!—отвечали бойцы, и им было радостно, что командир тут же, рядом, видит все, уверен, спокоен.

Пулемет Кройкова и Зинялкина был один из тех, которые поддерживали фланкирующий огонь. Пулемет стрелял хорошо, несколько раз подряд отрезая от танков немецкую мотопехоту. Теперь Кройков совсем успокоился. Чем дольше длился бой, тем ясней и отчетливей убеждался он в том, что ничего исключительного нет в немецкой танковой атаке, что так же, как и наши танки, горят и их танки, когда попадает меткий снаряд, что мотопехота совсем не идет без танков, что часто пехота и танки останавливаются, наткнувшись на плотный огонь, неуверенно тычутся, беспорядочно отходят. «А болтали-то о них, болтали!»—презрительно и спокойно думал Кройков. И, видимо, о том же думал Зинялкин, потому что однажды, при виде распавшейся немецкой цепочки, удиравшей от наших гранатометчиков, он пробормотал:

— А немец-то! Тоже не любит пули в живот.

— Люди как люди, не медведь!—ответил Кройков, и эти слова отчетливо выразили его уверенное, спокойное отношение к происходящему.

Веселое, глубокое чувство удачной, ладной работы охватывало обоих пулеметчиков по мере того, как длился бой. Скинув шинели, утирая пот черными от масла и патронных лент ладонями, они ощущали ту горячую и вместе с тем солидную деловитость, которую ощущает человек, знающий, что делает, и мнимающий, что дело его идет хорошо. Изредка они перекидывались короткими вескими словами. Вокруг хлопали мины, разрывались снаряды, но они уже не

обращали внимания на весь этот шум войны, он стал для них элементом работы, подобно тому, как шум станка является элементом работы токаря. В пылу работы этот шум не только не мешал им, но как бы подхлестывал своим упрямым бешеным ритмом. Они были так заняты своим делом, так взволнованы и воспалены им, что потеряли способность видеть и слышать все, не касающееся этого дела. Это было словно вдохновение,—и когда, во время короткой передышки боя, Кройков, утирая пот, огляделся вокруг, то с удивлением подумал: «А ведь уже за полдень... Облаков нет, солнце светит... и птицы летают». Среди дыма и грохота взрывов низко над землей мелькнула какая-то птица.

Три раза к ним подползал Петр. Он срыгивал в узкий окопчик, вытирал грязь с шинели и спрашивал, глядя на пулеметчиков отсутствующими, возбужденными глазами:

— Держимся?

— Держимся, товарищ лейтенант!

Один раз Зинялкин прибавил в своем обычном задорном тоне:

— Мины нас не берут... Мы с ними сродственники...

Когда Петр уполз, Кройков снова сердито сказал Зинялкину:

— Не балагурь! Смерть-то рядом!

Так продолжалось до сумерек. В сумерках группе немецких танков удалось прорваться, и два тяжелых, украшенных изображением тигра, танка устремились к окопчику, где сидели Кройков и Зинялкин. Кройков первый заметил их, схватил две бутылки с горючей жидкостью, прижался вплотную к земляной стенке



и крикнул Зинялкину, который, сразу обмякнув и поблдев, пригнулся ко дну окопа:

— Теперь прощай, брат!.. Не поминай лихом!..

На секунду его охватил смертельный страх. Руки, ноги, все тело ослабло, голова закружилась.

«Да что там!—свирепо и горько подумал он.—Не сатана ведь! Сидит, небось, в танке и тоже трясется! Эх, была—не была!»

Он бросил одну бутылку в хвост танку, потом, выждав, другую. Вторая бутылка попала в цель. Пламя пробилось сквозь отверстие рядом с тигром. Что-то тупое и сильное резко откинуло Кройкова в сторону, он потерял сознание: это выстрелил из пушки загоревшийся танк—три выстрела, раз за разом. Второй танк мелькнул мимо.

Когда Кройков очнулся, перед ним на корточках сидел командир стрелкового отделения Перчаткин и тер ему водкой лоб.

-- Вставай, вставай!—промолвил Перчаткин, увидев, что Кройков открыл глаза.—Ну, выручил, брат! Ведь они прямо на мое отделение перли... Вставай, вставай! Выручил, брат!

И когда Кройков, шатываясь, поднялся, он обнял его и поцеловал, приговаривая:

— Выручил, брат! Думал—конец, честное слово! Ну, ну, не шатайся! Выручил, брат! Вышей-ка, подкрепись!

— Ишь, целуются, как любовники!—смешливо промолвил Зинялкин, о злостью глядя, как Кройков пьет водку.

— Слышь, не ерничай Смерть-то рядом!—в третий раз за день серьезно и сердито сказал Кройков.

## Глава 5

Работа московских вузовцев по возведению противотанковых рвов и эскарпов еще не закончилась, когда начались заморозки. Глинистая почва стала твердой, как камень. Парни и девушки работали лопатами и кирками, откалывая тяжелые, промерзшие куски земли, словно это был гранит. Норма выработки не уменьшалась, и часто приходилось работать до полночи.

Но молодость есть молодость, и в молодости все смешит и развлекает: и то, что Костя Смирнов, влезая на бугор, оступился и шлепнулся в противотанковый ров; и то, что Катя Петрова ожидала писем от жениха, а получала все время письма от бабушки; и то, что за этой же Катей Петровой ухаживал техник-интендант из соседней саперной роты и приприсл ей в подарок вместо цветов—перья, пузырьки с чернилами и скрепки для бумаги... Смех не умолкал в землянках, куда молодежь возвращалась после работы. Окрестные саперы, скептически встретившие поначалу вузовцев, теперь приходили к ним по вечерам, чтобы попеть, повеселиться.

Хотя землянки, конечно, были у парней точно такие же, как у девчат, внешний их вид резко различался друг от друга. В то время как у парней все было навалено, наставлено, окурки, как снег, устилали пол, вещевые мешки лежали на столе, а котелки под изголовьями, у девушек землянка имела домашний, уютный вид, с аккуратно убранными постелями, с полотенцами, висевшими на гвоздиках, с зубными щетками в разноцветных футлярах, с баночками глицерина, с откуда-то раздобытыми картинками на земляных стенах и даже с гитарой у Вариного изголовья.

Поэтому собирались всегда по вечерам у девчат. Катя Петрова и Оля Котельникова готовили чай. Хлеб и сахар собирали вскладчину. Студенты-юристы Фомин и Серегин спорили друг с другом о любви, о будущем Европы и о том, может ли человечество жить без войн. Студент-химик Костя Смирнов, тот самый, что свалился в противотанковый ров, запевал, пощипывая гитарные струны:

Раскинулось море широко...

Костя учился на химика, но думал стать судостроителем. Он мечтал построить какой-то огромный пароход, кажется, водоизмещением в восемьдесят тысяч тонн. На этом пароходе должны были быть все удобства, вплоть до туристских самолетов. Здесь не должно было быть ни первого класса, ни второго, ни третьего,—всем пассажирам предоставлялись одинаковые одноместные каюты. По ночам, при свете мигающей лампы, под сонный ропот юристов, машиностроителей, языковедов, спавших на нарах, Костя готовил чертежи этого гигантского парохода. Он не показывал чертежей никому, кроме Вари, которую считал строгой и дельной и которую очень уважал. И Варя, относившаяся ко всему скептически, с резкой насмешкой, внимательно просматривала чертежи и говорила: — А знаешь, это может получиться! Честное слово, это может получиться!

Аккуратно приходил на эти вечерки саперный техник-интендант Шура, влюбленный в Катю Петрову. Это был тихий, молчаливый, робкий человек. Он совершенно немел, когда видел Катю, и не мог вымолвить ни слова. Несколько раз твердо решал он объясниться с ней и, зная свою робость и неумение говорить, готовил на бумажке тезисы будущего объ-

яснения. В этих тезисах было все: и описание городка, где он родился, и краткий очерк того, как он, Шура, долго жил, усердно работал и старался быть лучше и чище других, и никогда не влюблялся, потому что не находил девушки, которую мог бы любить на всю жизнь. И вот теперь он нашел именно эту девушку.

Изложение финального тезиса, который обозначался на бумажке за № 11 и всего тремя словами: «Я люблю тебя», было неясно для самого Шуры.

Приготовив тезисы, Шура отправлялся на вечерку, но молчал попрежнему, так как при виде Кати забывал все написанное. Он молчал, колол сахар и ставил самовар. Он умел ставить самовар, как никто, и почти все искренне полагали, что молчаливый техник-интендант за тем только и приходит, чтобы упражняться в приготовлении чая. Сердце его сжималось от тоски, а он ставил самовар и колол сахар.

Ольга продолжала получать бесконечные письма от Миши. Эти письма становились ото дня ко дню все неистовее. В каждом письме имелись постскрипты, которые подчас бывали длинней самих писем. И каждый раз, получив такое письмо—залог верной, горячей, немеркнувшей любви,—Оля вынимала из вещевого мешка фотографию Миши и целовала ее, обливаясь слезами:

— Милый мой! Пенаглядный! Любимый!

Даже Варя, относившаяся к Мише с недоброжелательством и с каким-то внутренним нетерпением, вынуждена была при виде груды писем, обвязанных голубой лентой, хранившейся в коробочке рядом с иголкой, нитками, пуговицами и пожелтевшей программой любительского школьного спектакля:

— Да, этот, пожалуй, любит!

В конце октября, когда рытье эскарпов уже почти закончилось, налетели немецкие бомбардировщики и забросали бомбами саперов и вузовцев. В этой бомбежке были убиты Костя Смирнов и Катя Петрова.

Вечером студенты разбирали вещи Кости и Кати, готовили их к отправке на родину. В мешке Кати нашли пачку писем: все от той же бабушки, жившей где-то около Томска. В мешке у Кости нашли записную книжку. Из книжки выяснились две вещи: во-первых, что Костя по окончании работы над эскарпами решил идти в летную школу, и, во-вторых, что, кроме восьмидесятитонного парохода с одинаковыми для всех каютами, он хотел еще построить пловучую станцию-городок среди Атлантического океана и цельно-металлический катер, развивающий скорость порядка четыреста километров в час.

Из этих данных и составил свою надгробную речь о Косте юрист Леня Фомин.

— Вот,—сказал он,—здесь, в этом скромном дощатом гробу, лежит наш товарищ, который жил среди нас, смеялся, грустил, пил чай, пел песни, играл на гитаре. Может, он стал бы великим инженером, славным судостроителем. Может, имя его осталось бы в веках, и грядущие поколения с восторгом и уважением произносили бы это имя. Но проклятые фашисты убили его, как они убили в разных концах земного шара тысячи других юношей, что, возможно, стали бы гениями и помогли человечеству жить и идти вперед к счастью и свету. Вечная память Косте—другу и брату, который погиб на своем незаметном посту. Пусть не построен ни пароход, ни катер, ни городок среди Атлантического океана, пусть ничего не узнает о Косте человечество,—память о нем будет жить, пока жив хоть один человек, стоящий

сейчас здесь, у его гроба! Клянемся в этом, друзья!

Речь о погибшей Кате взялся произнести техник-интендант Шура. Всю ночь готовился он к речи, но когда наступила решающая минута, так растерялся, что все забыл и, стоя над гробом, вдруг сказал то, чего не решался сказать живой Кате:

— Товарищи! Я любил ее! Я любил ее, товарищи!

Помолчав, махнул рукой, сошел вниз, сел на пенек и заплакал.

Пад свежей могилой товарищей студенты и студентки постановили не возвращаться в Москву, а итти добровольцами в Красную Армию.

Так и сделали. Группа вузовцев, работавшая над эскарпами, расплылась по разным частям, подразделениям и школам армии—кто в стрелки, кто в танкисты, кто в связисты, кто в фельдшеры. Они затерялись в необозримых пространствах войны и, встречаясь на фронтовых дорогах, нередко не узнавали друг друга—так все изменились,— а узнав, целовались крепко, по-солдатски, смеялись, хлопали друг друга по плечу и вспоминали смешное и наивное время, когда рыли вместе рвы, вспоминали землянки, гитару, техника Шуру (где-то он теперь!), вечорки, споры и две милых зеленых могилы на подмосковном холме, среди осенних голых берез и рыжей размокшей глины.

Оля и Варя пошли в снайперскую школу и по окончании ее были направлены в действующую часть. Где только они не побывали! Они научились спать на снегу, не раздеваться по неделям, научились голодать, холодать, итти и итти вперед среди свирепой поземки, разводить невидимые врагу костры. Они изучили шаг за шагом великую науку солдатской жизни, где значилось, что солдат должен есть, коли пришла еда,

даже тогда, когда не хочется есть—про запас, мало ли что будет впереди; спать, коли имеется хотя бы малейшая возможность поспать,—тоже про запас, и главное (в этом заключался самый серьезный предмет солдатской науки)—быть верным другом в беде и не бояться смерти.

Они научились не отставать от мужчин ни в чем—ни в марше, ни в починке сапог, ни в атаках; лица их стали грубыми, обветренными, руки цепкими, мускулистыми, мозолистыми, ноги тоже мозолистыми. Слава о храбрых девушках-снайперах прошла далеко за пределы дивизии.

Только один раз отправились они с передовых в штаб фронта—получать ордена.

Ордена выдавал генерал. Он стоял у большого покрытого красным сукном стола и каждому из тех, кто по очереди подходил за наградой, крепко жал руку и говорил поздравительные слова. Было очень торжественно и после фронта непривычно от этих высоких стен и яркого света. Каждый из награжденных, получив орден, козырял, делал налево кругом и отходил от стола четким строевым шагом.

После вручения орденов Оля пошла в военторг, чтобы сделать кое-какие закупки, а Варя, дожидаясь ее, решила прогуляться по городскому саду.

Это был провинциальный садик с дощатой раковинной для оркестра, с пустой мокрой асфальтовой тапцовой площадью, с вороньими гнездами на огромных тополях, с видом на озеро и с бомбоубежищем, вырытым рядом со сценой эстрадного театра.

Варя прошла разок-другой по садiku, затем одинокая фигура, сидевшая на скамейке, обратила на себя ее внимание. То был невысокий боец в теплой

шанке, в длинной, не по росту, шинели, в огромных сапогах, с баклажкой у пояса.

Варвара подошла и села с ним рядом. Это был свой, фронтовой, оконный из окопных. Варвара уважала таких неказистых и любила с ними беседовать.

— Здравствуйте,—сказала она,—давайте знакомиться. Вы ведь тоже получили сегодня орден. Варвара Окнова.

Боец встал и робко протянул ладонь.

— Кройков,—сказал он.

Сел.

— Закурим?—спросила Варвара и вынула из кармана кисет.

Закрутили дыгарки, причем Кройков завертывал так ловко и быстро, что Варвара с уважением следила за ним: она любила все ловкое, умелое, ладное.

— Хорошо вы это делаете!—сказала она.

— Мастеровой,—отвечал он,— всю жизнь самокрутки курю. Плотник.

Теплый дымок приятно щекотал ноздри. Затянулись.

— «Дукат»,—удовлетворенно сказала Варвара.— Хороший табак. Двенадцать рублей пачка.

— Самосад лучше.

— Вы издалека?

— Сибирский,—сказал Кройков.—А вы хорошая, с вами легко разговаривать. Хотите, я вам о Сибири расскажу?

И стал рассказывать. А потом перешел на рассказ о плотницком деле. Говорил дельно, живо, с шуткой, рисовал на мокром песке пальцем какие-то чертежи, и каждый раз, когда поворачивался, Варе казалось, что от него идет плотницкий запах—запах стружки, свежего дерева и рабочего пота.



— Вот как!—сказал он в заключение.—Вот это и есть наше дело. А вы хорошая, с вами легко разговаривать. Ну-с, закурим!..

Закурили еще раз, и опять Варя поразилась, как легко и ловко закуривает он папироску. Она спросила:

— У тебя семья есть?

— Нет. Одинок.

— Ну, расскажи еще что-нибудь.

Он стал рассказывать о сибирской охоте. Снова рассказывал живо, с шуткой, с каким-то ясным, спокойным и острым проникновением в шумы, краски и запахи природы. Варвара слушала, не перебивая, и все поглядывала на него с изумлением: откуда все это в столь неказистом, неуклюжем, маленьком человечке? Она спросила:

— Ты книжки читаешь?

— Мало... Только партийные.

— Партийные?

— Ну, конечно. Сам я партийный.

И Варвара, как и все, кому Кройков говорил, что он член партии, с удивлением уставилась на него. Он спросил:

— Вы что так смотрите?

— Да не похож ты, брат, на партийного.

— Здравствуйте!—обиженно протянул Кройков.—Чем же я не похож? Человек как человек. Ну, до свиданья, спешу.

Он встал и пошел. И хотя он был немного обижен на Варвару за ее последние слова, но от разговора с ней у него осталось какое-то радостное, веселое, легкое чувство.

«А она хорошая, с ней легко разговаривать»,— строго и признательно думал он.

И, сидя на грузовике, везшем его обратно в часть, он все вспоминал и вспоминал Варвару, и все думал о том, что она хорошая и с ней легко разговаривать.

«Эх, не спросил, замужем ли она,—вдруг досадливо подумал он,—да и адреса у нее не взял... Ищи теперь ее на войне, свищи!—печально соображал он.— Пет, не умею я с девушками разговаривать».

Рядом с Кройковым на грузовике сидел человек в боевкочной шинели, с двумя кубиками в петличках и с красной звездой на рукаве—младший политрук. Он все время заговаривал с Кройковым, но Кройков, думая о своем, отвечал скупо, и младший политрук наконец примолк. И только, когда выехали из леса, спросил:

— Далеко до Васильевки?

— Теперь недалеко,—ответил, думая о своем, Кройков.

— Вот это хорошо, что недалеко,—словоохотливо откликнулся младший политрук.—Устал, три дня еду. Да и вещи тяжелые,—сказал он, указывая на вещевой мешок и сундучок, запертый на висячий замок.—За назначением еду,—добавил он, дружелюбно вглядываясь в Кройкова.

— Так, так,—промолвил, думая о своем, Кройков.

— Я человек не военный,—сказал младший политрук, радуясь, что разговор завязался,—до войны заведующим универмагом работал в маленьком городке. Коммерсант,—заметил он, усмехаясь.—Сам я южанин... К сливам привык, к солнцу, к абрикосам... Ну вот, а теперь мобилизовали. Ну как, трудно воевать, а?.. Трудно?—с любопытством спросил он.

— Воевать-то не трудно,—ответил, думая о своем, Кройков,—бить немца трудно.

А Варя, встретив Олю, была задумчива, неразговорчива и внезапно раздраженно отрезала:

— Да что ты все болтаешь, болтаешь! Помолчи. Болтай со своим шоколадным Мишей.

Девушки пробыли еще четыре дня в городке. Посетили концерт в ДК, три раза выступали с докладами о своей боевой работе, поехали в лазарет, где тоже выступили с докладами, пошли напоследок в кино—и снова фронт. И снова стужа, поля да леса, запах стрельбы и машинного масла, вкус стрельбы и глинистой пыли, забивающей нос и рот, грохот стрельбы и минных разрывов.

И чем больше уходило дней и недель, тем все туманней, расплывчатей казалось довоенное время—Москва, постель, простыни, одеяло, кастрюли, прогулки,—и все это стало, наконец, таким неясным и далеким, что даже Варвара однажды воскликнула:

— Слушай, Олька! Да жили мы когда-нибудь в Москве или нет?

В этот вечер Оля вынула зеркальце из глубины вещевого мешка и долго разглядывала свое лицо. Да она ли это на самом деле? Пет, это не она! Это что-то другое. Что-то непонятнее, страшнее и лучше!

Прошло еще две недели. Однажды, когда Оля пошла в штаб полка, писарь сказал ей:

— Котельникова, тут тебя спрашивает один парень.

— Парень?

— Натурально, не девка!

— Да где же он?

— Найдется, не пропадет.

Действительно, парень нашелся—он был у командира полка. Когда Оля увидела его, кровь схлы-

нула с ее щек и телу стало так холодно и так жарко, словно в брезентовой бане на морозе. Миша!

Они бросились друг к другу и взялись за руки, едва переводя дыхание. И Оля заговорила, в то время как писарь, глядя на них во все глаза, почесывал в изумлении за ухом карандашом:

— Мишенька мой! Дорогой! Золотепький!

Как выяснилось, Миша прибыл из штаба армин, чтобы отобрать подходящую молодежь для лыжного отряда.

## Глава 6

В течение полутора месяцев, в тяжелые, ненастные осенние дни, в долгие темные осенние ночи, дивизия, в состав которой входила рота Петра Котельникова, сдерживала яростный натиск врага на Москву. Она цеплялась за каждый овраг, за каждую деревню, она отходила медленно, в тяжелых боях, и подчас, точно всплыв, делала бешеный рывок вперед, нанося врагу кровопролитные раны.

Березовые кресты обозначили путь немецкой армии. Они стояли на ветру среди подмосковных дач, и каски, увенчивающие их, были посыпаны первой русской порошей.

Немало могил осталось и на нашем пути. Многих бойцов недосчитывался Петр. Старшина Козырько, делопроизводитель и добровольный историограф роты, снимал своим «Фэдом» каждую такую могилу. «Путь славы»—назвал он папку, где хранились эти и прочие фотографии. Тут лежали фото боев, землянок, окопов, осени, непролазных дорог, подбитых фашистских танков, унылых немецких пленников, а также могил в лесах и полях, возле большаков и на камени-

стых холмах, военных могил, украшенных красной звездой и двумя перекрещенными винтовками. Путь доблести. Путь крови. Путь славы.

Командир дивизии полковник Александр Степанович Перемитин сидел в тесном штабном автобусе за столом, возле жарко натопленной печки, и следил за тем, как начальник штаба, ловко орудуя резинкой и остро очиненными карандашами, наносил обстановку на карту.

Перемитин любил эти часы работы с начальником штаба и оперативным отделом. Он всегда садился за карту с тем особым чувством волнения и удовольствия, с каким шахматист садится за шахматную доску, предвидя, что предстоит серьезная, богатая событиями игра.

Перемитин состоял в рядах Красной Армии со дня ее основания. Член партии с 1918 года, он проделал весь долгий путь от бойца до полковника. Он учился с азов, долгими днями, бессонными ночами, упорно и методично, он не переносил всезнайства, залихватской беспорядочности, случайных успехов. Все должно было быть достигнуто трудом, настоящими способностями, подлинными знаниями. У него был твердый, непреклонный взгляд на воспитание командира, он отказывался признавать командиром человека, для которого вопросы долга, чести, ответственности, дисциплины были второстепенными вопросами.

Он был суров и требователен. Но за этой суровостью скрывалась широкая и страстная душа. Человек из народа, он знал привычки и жизнь народа и умел так разговаривать с бойцами, что самые опытные агитаторы только диву давались. Он сразу находил язык и тон такого разговора, и в этом языке и тоне не было ни малейшей фальши, ни грана того

ложного, якобы народного, стиля, которым щеголяют некоторые командиры и политработники. Он говорил с бойцами спокойно, без шутливого заигрывания, вдумчиво, ясно и всегда убедительно.

Свою профессию он обожал. Это был полководец по призванию, с обширными знаниями, с тем ясным, порой вдохновенным чувством обстановки, которое позволяло ему находить оригинальные и тонкие решения самых трудных оперативных задач.

И вот сейчас, куря короткую трубку, он состязался с невидимым врагом—с немецким генералом, который, возможно, в эту минуту точно так же сидел за картой в нескольких километрах от него. Они наносили друг другу внезапные удары, производили хитрые скрытые маневры, стремились предугадать намерения друг друга.

Противник Перемитина оказался способным генералом, бороться с ним было не легко. Он обнаруживал терпение, настойчивость, действовал разумно и тонко. Солидность и методичность старой прусской военной школы он разнообразил множеством рискованных уловок и движений, рассчитанных на замешательство, на моральную подавленность противника. Многие его удары были похожи на авантюру, но тактическая выучка его войск, умение быстро и прочно закрепиться на местности, организовать сильную и гибкую оборону почти одновременно с движением вперед, умение неутомимо наращивать удар даже в месте случайного прорыва—все это делало чрезвычайно опасными его самые рискованные и, казалось бы, ничем не обоснованные маневры.

Перемитину приходилось поэтому тщательно следить за каждым, на первый взгляд, даже малозначащим его шагом, чтобы во-время предугадать и

парировать удар. По десяткам не всегда ясных признаков, противоречивых донесений, отрывочных наблюдений требовалось составить точное представление о намерениях врага. Это удавалось не всегда, порой и совсем не удавалось,—тогда Перемитин испытывал тревогу и неуверенность, подобную неуверенности шахматного игрока, потерявшего ощущение плана противника и вынужденного играть наугад.

— Спокойней, спокойней!—говорил он себе.—Обождем, разберемся еще раз, проанализируем точнее, все станет ясным...

Он откладывал карту в сторону и обращался к другим делам.

Внешне он казался совершенно спокойным, будто совсем забыл о карте,—обедал, принимал доклады, читал газеты. Но что бы он ни делал—шутил ли, сидел ли на собрании, подписывал ли бумаги, вслушивался ли в доклад, ложился ли отдохнуть,—образ карты, сетка тонких и хитрых сплетений красных и синих линий, ни на секунду не покидал его. Его глаза пристально вглядывались в окружающее, но это было то поверхностное, деланное внимание, какое бывает у человека, чей мозг, занятый решением сложной задачи, лишь автоматически, хоть и вполне рассудительно, реагирует на явления внешней жизни. И вдруг внезапная догадка, нередко вызванная вновь поступившим, порой незначительным, сообщением, озаряла, как вспышка, всю сложную тактическую и оперативную картину. И расплывающиеся, не складывающиеся звенья соединялись в разумную, логическую цепь—план врага.

— Ах, вот оно что!—говорил себе Перемитин, окутываясь клубами дыма, вертя машинально между пальцами карандаш и глядя на карту блестящими

глазами.— Вот он куда гнет... Вот что надумал... Так, так... Смотрите, Петр Пикифорович,—говорил он начальнику штаба.

И, обозначив на карте точным и резким пунктиром направление угаданного удара противника, он садился диктовать приказы.

Вот уже много недель длилась эта тяжелая, изнуряющая борьба. От первого удара, нанесенного немцами километрах в ста от Москвы, линия обороны дивизии погнулась и едва удержалась. Ловким маневром Перемитину удалось ее выпрямить. Второй удар был свирепей первого, но Перемитин уже предугадал возможное направление его, и дивизия, понеся значительные потери и несколько отступив, снова остановила врага. Это было уже заметным успехом, и все же, садясь за карту в те достопамятные дни, Перемитин отчетливо видел неудовлетворительное состояние оперативной картины в целом. Фланги висели. Тыл не был обеспечен. Каждую минуту грозил глубокий, решающий прорыв. Противник полностью диктовал свою волю, и Перемитин вынужден был заниматься лихорадочным штопаньем дыр и прорех, возникавших ежедневно.

Мало-по-малу мелкими, но точными ходами Перемитин стал укреплять свою позицию. Положение улучшалось. Правда, улучшение еще не обозначилось на карте, но Перемитин ощущал его каким-то шестым чувством оперативного равновесия. Потом улучшение стало видно и на карте. Дивизия отходила, но с жестокими боями, нанося яростные контрудары. Фланги стали обеспеченнее, тыл организованнее. Перемитин всем своим существом, всем своим коренастым, мускулистым телом чувствовал это па-



растающее сопротивление дивизии и искияющую силу ударов врага.

— Гнем, гнем!— говорил он.— Честное слово, гнем!—повторил он запальчиво, точно кто-то возражал ему.—Они останавливаются, верьте мне, останавливаются!

И наступил день, когда движение немцев действительно остановилось. Теперь карта имела уже совсем другой вид. Ее уже не лихорадило. Вместо отдельных, неровных, беспорядочно разбросанных красных кружков, прорезанных длинными синими стрелками,—такой была карта полтора месяца назад,—виднелась стройная цепь красных дуг с острыми, пока еще едва обозначившимися стрелками. Синие стрелы втянулись и тоже обратились в дуги. Партия выравнялась. Карта стала солидной, устойчивой, спокойной.

Перемитин и решил нанести свой пробный контрудар. Удар этот был поручен роте, которой командовал Петр. Ранним ноябрьским утром—снег уже выпал—рота Петра внезапно перешла в наступление и выбила немцев из села над рекой. Были захвачены трофеи и пленные.

Эту-то операцию и наносил сейчас начальник штаба на карту, в то время как Перемитин, как всегда в клубах дыма, следил за карандашом, говоря:

— Ах, молодцы, молодцы!.. Вот молодцы!.. Как фамилия этого командира роты?

Потом он обратился к комиссару дивизии—небольшого роста грузному человеку:

— Поедем к ним, комиссар! Надо посмотреть эту деревню.

Через двадцать минут тарантас, запряженный парой сильных лошадей, был подан, и Перемитин с ко-

миссаром Турухиным в теплых шапках и полушубках, сопровождаемые верховыми автоматчиками, двинулись по лесной дороге. Было холодно. Молодая снежная пыль покрывала деревья и летела по воздуху, серебрясь при свете звезд, мелькавших из-за облаков. Время от времени среди темных деревьев возникали неясные очертания повозок и часовых. Иногда из-за леса стремительно восходила огромная звезда, и все вокруг становилось таким ярко-белым, что утомленный глаз начинал видеть черные пятна: осветительная ракета. Часто тишина как бы вспарывалась неистовым грохотом, и в течение нескольких минут что-то хлопало, свистело, визжало: минометный налет; затем опять становилось тихо—только короткие пулеметные очереди.

— Красота!—сказал Перемитин.—До чего ж красота!.. Первый морозец... И эти звезды!..

— Где же звезды? Звезд почти не видать!—проговорил Турухин.

«Не понимает!—подумал с сожалением Перемитин.—Вот не понимает человек красоты! Не принимает ее, да и только!»

Петр не ожидал прибытия высоких гостей. Он сидел за столом в избе, озаренной светом огарка, и, окруженный командирами взводов, решал разнообразные и хлопотные ротные дела.

Тут же, на деревянной крестьянской двуспальной кровати, сидел новый политрук роты, прибывший на место прежнего, тяжело раненного. Это был тот самый словоохотливый младший политрук, с которым Кройков ехал на грузовой машине.

За полтора месяца боев Петр сильно похудел. Его глаза, воспаленные от постоянной бессонницы, стали как будто темнее, черствее, отчужденней. На

самом же деле эта отчужденность была выражением той внутренней борьбы, которую испытывал Петр.

Первое, что испытал Петр в столкновениях с прославленной немецкой армией, была боязнь, как бы не сделать какой-нибудь грубой оплошности, не быть легко обманутым врагом, не совершить наивного шага, который погубил бы все: ощущение неопытного фехтовальщика, вступившего в состязание с мастером. Потом с удивлением он стал убеждаться, что прославленный мастер не представляет из себя ничего исключительного, не делает ничего такого, чего Петр не мог бы предугадать и парировать, пользуется несколько довольно шаблонными, хоть и чрезвычайно гибко применяемыми приемами. Это открытие повергло вначале Петра в изумление, а потом вселило в него уверенность в своей силе, как командира. Второе, что пришлось Петру преодолеть в боях,—это постоянное чувство колебания, стремление снять с себя ответственность за тот или иной шаг, непреодолимое желание санкционировать каждое свое намерение в высших инстанциях. И тут Петр опять убедился, что инстанции почти всегда соглашались с его планами, и понемногу, в полуторамесячных жестоких боях, в нем выросло и укрепилось чувство личного достоинства и самостоятельности, позволявшее ему твердо, без оглядки, принимать любое решение и ощущать себя полностью ответственным за него. Третье, и главное, что он понял, заключалось в том, что на войне снарядом является не только стальной снаряд, выпускаемый из орудия, но и вся масса войск, устремленная на ту или иную цель. Он понял, что это самый сложный снаряд из всех имеющих на войне, с чувствительнейшим, тонким механизмом. Для Петра стало

ясно, что этот снаряд нуждается в особом попечении, что его нельзя пускать в ход попустому, без толку, в суетне, без ясного плана,—иначе наступит то чувство досады, разочарования, недоверия, которое может погубить все дело. Было очевидно, что пробивная сила и стойкость такого чувствительнейшего снаряда складываются из целого ряда условий, но основным условием, однако, является точность в работе командира и ясность задачи, которая ставится перед бойцами.

Эту точность Петр старался выработать, эти простые и ясные задачи ставить перед бойцами. Дело трудное в такой обстановке! Но что делать? Ведь, определяя план операций, следовало учитывать внутреннее, порой трудно уловимое, как бы подспудное настроение роты с той же тщательностью, с какой учитывается топография местности, количество боеприпасов и т. д. Это отлично понимал Петр. Понимал это и совершенно штатский человек, новый политрук роты Нарфентьев, с которым Петр подружился.

Штаб роты помещался в избе посреди деревни, и командир дивизии с комиссаром, оставив тарантас у околицы, пошли пешком по сельской улице.

Путь был недалек. Возле околицы стояла артиллерийская батарея и горел скрытый, сложенный по методу сибирских охотников, костер. Рядом с первой избой, с пробитой снарядом стеной и с крышей, как бы сдвинутой набекрень, курилась походная, только что прибывшая кухня, слышался звон котелков и веселые возгласы. Какой-то тонкий досадливый голос твердил:

— Да как же нам? Мы третьей роты... Тоже весь день не евши...

И вдруг, видимо, получив наконец еду, тонко и радостно зачастил:

— Вот это правильно!.. Вот это спасибо... А то ждем, ждем. Нам говорят, кухня выехала. А когда она будет, а? Когда будет, скажите, пожалуйста.

Внезапная тень мелькнула возле сарая и ступивалась за углом. Перемитин зажег фонарик.

— Кто там?

Огромный пожилой, бородатый боец нехотя вышел из-за угла и остановился.

— Что тут делаешь?—спросил комиссар.

Боец молчал и переминался с ноги на ногу.

— Какого взвода?—спросил комиссар.

Боец ответил.

— Фамилия?

— Серегин.

— Что тут делаешь?—повторил комиссар.

— Да мы...—начал растерянно боец,—да мы так... этого... так, значит... ложку пошел в 'избу попросить, свою затерял,—вдруг быстро сказал он, радуясь, что нашел выход из трудного положения.

— Разрешение на хождение по избам получил?

— Не-ету,—протянул растерявшийся снова боец.

— Не-ету!—передразнил комиссар, записывая в блокнот фамилию бойца и номер взвода.—Иди!

Боец медленно отошел.

«Ну, влетел!—досадливо думал он.—Теперь начнется история!»

Насчет ложки он соврал. Ходил он совсем не за ложкой. Он прибыл в роту недавно с пополнением, и это была первая деревня, которую при нем отбили у немцев. Едва вступили в деревню, как он вошел в первую избу и стал доискиваться у хозяйки, как было при немцах. «Ох, худо, родимый, все отобра-

ли!..»—твердила женщина. Но Сергеев глядел недоверчиво. Он отвел женщину в сторону: «Да ты не спеши, говори по порядку... Небось, не на митинге. Правду скажи... Я сам крестьянин... Колхозный конюх... Ты мне не ври». И колхозница повела его по двору в сарай и показала, что наделали немцы, и все плакала и твердила: «Да если бы я загодя знала, сама бы с вилами на них пошла... Я думала—о них так только в газетах пишут... Ох, звери, гады!..»

Но Сергеев и тут решил проверить и пошел по другим избам, и всюду донскивался, и всюду женщины плакали и говорили одно и то же: замучил немец, вовсе замучил!..

И теперь, идя к себе во взвод и натываясь во тьме на сугробы, он старался не думать о неприятной встрече с начальством, а думать о том большом, что занимало его.

«Нет!—думал он.—Надо завтра еще по избам-то походить посерьезнее... Утро-то вечера мудреней... Бабы-то, они плакать горазды!»

Было уже поздно, но дел у Петра было попрже-нему хоть отбавляй. Он сидел за столом, окруженный людьми, и просматривал бумаги, время от времени оборачиваясь к политруку Парфентьеву за советом. Парфентьев сидел на кровати и, сняв тяжелые сапоги, писал письмо домой, жене. Сегодня он впервые участвовал в бою и описывал впечатления. Эти впечатления были для него самого совершенно нежны, но основное, что он чувствовал, заключалось в том, что, несмотря на весь ужас, охвативший его от этого свиста пуль и, главное, от минных разрывов, он, Парфентьев, не выказал своего страха, а, наоборот, вел себя так, как если бы ничего не случилось.

«А ведь не плохо для первого раза, честное слово, не плохо!—удовлетворенно думал он.—Но как же сделать так, чтобы действительно не бояться? Надо будет провести недельку в боевом охранении, тогда привыкну»,—решил он, заканчивая письмо.

Открылась дверь, всклубился морозный пар, и в избу, отирая усы от тающей изморози, вошли командир дивизии и комиссар. Петр встал и вытянулся, а Парфентьев начал быстро обматывать вокруг ног вурты и натягивать сапоги, испуганно косясь на начальство.

Комиссар подошел к нему.

— Новый политрук роты?

— Так точно!—ответил Парфентьев, надевая второй сапог, который никак не натягивался, ибо портынка, завернувшая столь поспешно, сбилась и превратилась в какой-то колуш.

«Что за напасть!—отчаянно думал он.—Надо бы переобмотать!.. Да не время!.. Ах, черт побери!»

— Вы что, домой письма пишете?—спросил комиссар, неодобрительно косясь на сапог Парфентьева.

— Так точно!..

Сапог не натягивался.

— Не время, не время!—сурово сказал Турухин.— Есть дела поважней!

Он отвернулся. А Парфентьев, рывком натянув сапог и чувствуя, что портынка окончательно сбилась и сжимает ногу, как стальная колодка, в смущении скомкал письмо и спрятал его глубоко в карман.

— Молодцы! Молодцы!—весело говорил между тем Петру командующий дивизией Перемитин.—Доволен! Очень вами доволен! Пойдемте посмотрим деревню.

Они вышли. Впереди шли Петр с Перемитиным,

за ними комиссар, сзади, ковыляя, подвигался Парфентьев.

«Переобуться бы!—думал он в тоске.—Чорт, жмет!.. Переобуться бы!»

— Сюда, сюда!—сказал Петр.—Здесь был их штаб.

Они вошли в крепко сбитую крестьянскую избу. На лежанке тревожно шептались ребятишки, женщина раздувала самовар.

— Привет хозяевам!—сказал Перемитин.—Так у тебя тут ихний штаб был?—обратился он к женщине.

— Был, был,—отвечала женщина,—был, чтоб ему провалиться!.. Сам генерал приезжал... Три денщика на одного генерала...

— Во как! Зачем же так много?

— А хрен его знает!—серьезно сказала хозяйка.—Надо быть, для фасону.

На столе лежали пустые бутылки с немецкими этикетками. Консервные банки валялись на подоконнике, на полу. Скромные крестьянские бумажные цветы, украшавшие почетный угол избы, куда обычно прикалывают семейные фотографии, были сорваны. Вместо них были прикреплены фотокарточки участников пира: два офицера с бутылками на фоне Эйфелевой башни, три офицера с бутылками на сторевшей улице французского города Тура, пять офицеров с бутылками, сидящие на полу какой-то католической часовни.

Осмотрев избу,—в те дни все это было внове,—Перемитин со спутниками вновь вышли на улицу, а детские головки, юркнувшие в глубь лежанки при их входе, опять показались над печкой, и белокурая тонконосая девочка острым быстрым шопотом спросила:

— Ванька! Это наш генерал, а?..



— Генерал!—солидно отвечив Ванька.

— А тот, сзади... который хромой?

— Хромой?—сурово спросил Ванька.—Какой хромой?.. Это у него сапог жмет. Не видишь? Эх ты, баба!—презрительно заключил он.

На западной околице села в брошенных немцами блиндажах расположились отделения роты.

Мигая, горел огонь лампы, стоявшей на столе. На печке кипел чайник. Рядом сушились шинели. Бойцы чистили оружие,—в воздухе мелькали шомполы, обернутые тряпками, пропитанными черно-зеленым маслом. Двое-трое бойцов, вооружившись иголками и нитками, были заняты мелкой починкой одежды. Красноармеец Федосеев, по профессии портной, пришивал пуговицы. Он сидел на соломе, по-портновски поджав под себя ноги, и работал так ловко и прочно, что к нему даже из соседних землянок приходили за помощью по части починки и подштопки.

К тому же Федосеев был еще и запевала. Он запевал негромко, нежным, чувствительным тенорком, и мелодия, легкая, привычная, плавно скользила над лампой, озарявшей серьезные, мужественные лица:

Тучи над городом вьются...

В углу возле печки примостился красноармеец Канадин. Он готовил «Боевой листок». Он уже наклеил передовицу, статью политрука, описание боев под селом, подверстал отдел юмора. Теперь он подклеивал стихи о санитарке Катюше Деревенко, написанные ротным поэтом:

Не цветут уж яблони и груши,  
Дед мороз хозяином идет,  
Не выходит на берег Катюша,  
Она с фронта раненых несет...

Когда в землянку вошел Перемитин, все встали и вытянулись. Командир взвода подошел с рапортом. Не встал по форме только один Кройков. По странной случайности он сидел, подобно политруку, без сапог и теперь спешно и взволнованно старался намотать портянки. Комиссар дивизии, рассерженный тем, что повторилась в точности картина, уже виденная им в командирской избе, приблизился к Кройкову и спросил:

— Какого взвода?

Кройков бойко ответил, встав и держа за ушки тяжелые походные сапоги.

— Почему без сапог, когда находитесь на виду у врага? А что, если немец сейчас пожалует?

Кройков не сумел ответить. Он стоял и глядел куда-то вбок, в то время как политрук Парфентьев смотрел на него понимающими, соболезнующими глазами.

— Каждый боец должен это понимать,—сказал комиссар,—партийный и беспартийный... Ты беспартийный?

— Партийный,—упавшим голосом ответил Кройков.

— Партийный?—комиссар изумленно посмотрел на Кройкова.—Вот уж не похож на партийного! Тем более,—строго добавил он,—надо быть примером для других, а не распускаться. Как фамилия?

— Кройков.

— Кройков?—комиссар еще более изумился: так вот он, тот знаменитый Кройков, который один встретил два вражеских танка, получил орден, и сегодня опять отличился в бою, и снова будет представлен к награде.

Подошел командир дивизии.

— Кройков?—спросил он.—Привет, Кройков! Что, ноги греешь?

— Грею,—уныло сказал Кройков.

— Грей, грей!—произнес Перемитин.—Ишь, натружены ноги-то, жилы выступили,—добавил он, сердито косясь на комиссара.—Ты бы их помассировал,—промолвил он, наклоняясь над ногами Кройкова.

— Помассирую,—сказал Кройков, не зная, куда девать голые ноги.

— Так, так, действуй, действуй!—произнес Перемитин и выпрямился.—Спасибо вам всем, друзья, за сегодняшнее дело. Отлично работали. И командиру и политруку вашему особое спасибо.

Обратно Перемитин и Турухин ехали молча. Турухин был человеком знающим, много работающим, но одним из тех, которых зовут «начетчиками». Он никак не мог приложить свои книжные знания к тому огромному потоку людей, с которыми ему приходилось иметь дело.

Перемитин знал это. И теперь, сидя рядом с комиссаром, испытывал острое желание чем-нибудь уколоть его. Он долго молчал, а потом сказал, как бы мимоходом, почти равнодушно:

— А мне нравится этот новый политрук у Котельникова. Жизнь понимает. Люблю таких.

Комиссар вздохнул и, не желая вступать в прямое пререкание с командиром дивизии, ответил:

— Ничего... Впрочем, надо еще проверить, каков он будет в работе,—добавил он уже более резко.—Какой-то он мешковатый, разболтанный... штатский... Вот сегодня эта история с сапогами.

Перемитин раздраженно отвернулся, и больше за всю дорогу они не промолвили ни одного слова.

Приехав, Перемитин доложил штабу армии об-

становку. А через двадцать четыре часа—в ночь на 5 декабря—пришел шифрованный приказ Ставки об общем наступлении на немцев под Москвой.

## Глава 7

Пятого декабря вечером приказ Ставки был доведен до сведения командиров рот. Сотни политработников направились во взводы и отделения, чтобы разъяснить бойцам сущность этого приказа.

Политрук Парфентьев назначил коммуниста Кройкова для беседы со стрелковым отделением сержанта Перчаткина. Блиндаж отделения помещался на самой опушке, был просторен, обшит сосновыми досками, и когда Кройков вошел туда в своей длинной, но по росту, шинели и в шапке, из-под которой оттопыривались уши, он застал бойцов надрывающимися от смеха. Хохот происходил оттого, что боец Сафонов смешно и картинно рассказывал, как он ухаживал в городе Тамбове за продавщицей парфюмерного магазина:

— Зашел, мыло купил... Вышел, за углом постоял, зашел—опять мыло купил... Третий раз вышел, зашел—снова мыло... Смеется, шельма! «Зачем,—говорит,—вам, боец, столько мыла?»—«Да я,—говорю,—каждый час в бапе моюсь!..»

Хохот.

— А в другой день на помаду кинулся. Пять штук помады купил, сдохнуть на месте! Покупаю и на ее гляжу, покупаю и на ее гляжу... Глазки закатывает, соображает!.. «К чему,—говорит,—вам, боец, столько помады?»—«Да я,—говорю,—себе губки мажу после каждой цыгарки...»

Успех рассказа превзошел самые гордые ожида-

ния рассказчика, и он удовлетворенно моргал глазами.

Вмешался Зинялкин: он не переносил чужого успеха.

— Да, да, бывает, случается,—заговорил он быстро и оживленно, стараясь сразу же обратить на себя внимание аудитории.—Вот, скажем, в Борисоглебске я за бухгалтершей ухаживал... Деловая такая бухгалтерша, в очках...

Выслушав повествование о бухгалтерше и посмеявшись так, что нос у него покраснел, на лбу выступили капли пота, Кройков снял шинель, расправил под поясом складки на гимнастерке и веско сказал:

— Ну, так... Смеху конец. Теперь я буду говорить, а вы слушать.

Бойцы, переговариваясь и все еще пересмеиваясь от лихого рассказа Зинялкина, расселись по нарам и складным табуретам. Кройков не спеша развесил на стене большую, наклеенную на холсте, разноцветную карту Европы. Потом, все так же не спеша, засучил рукава гимнастерки, как бы собираясь начать какую-то сложную хирургическую операцию.

— Товарищи!—сказал он, щурясь и вытирая кулаком лоб.—Вот она, тут перед вами, Европа. Вот тебе Франция,—он обвел черту французских границ своим заскорузлым пальцем,—вот тебе Германия... Тут, под низом, Италия... А вот это мы, Сесесеэр, Россия... Не возись, Милкин!—сердито прикрикнул он на молодого, пошевелившегося и оглянувшегося зачем-то бойца.—С тобой разговариваю, не с дверью...

Он помолчал, точно отделяя те серьезные, значительные мысли, которые занимали его, Кройкова, от

образа легкомысленного Милкина, нарушившего ход этих мыслей, и продолжал:

— Каково положение на сегодняшний день? Положение худо, товарищи, худо, очень плохое,—сказал он и покачал головой так грустно и сокрушенно, что все молча и сосредоточенно уставились на него.— Почему же так худо? А потому, что немец в Белоруссии, на Украине, в Крыму и подходит к Москве. Что тут делать, а? Как тут быть?

Он проговорил это и, точно ожидая ответа, сел на уголок нар, не спеша вынул кисет, свернул папиросу, закурил и выпустил пышный клуб дыма. Слушатели следили глазами за каждым его жестом и сосредоточенно молчали.

— Да, тут призадуматься!—одобрительно и серьезно сказал Кройков.—Столько лет строили, мучились, от куска хлеба отказывались—и нате! Вот ты, Лузарек, Кузнецк строил?—обратился он к одному пулеметчику, вздрогнувшему от неожиданности.— Строил! А я Днепрогэс строил.

— Да ты разве на Днепрогэсе был?—прервал его чей-то голос из глубины землянки.

— Был!—ответил Кройков, и все почему-то внутренне удивились тому, что Кройков строил Днепрогэс, как удивлялись люди, узнавая, что Кройков партийный.— Был! Плотником-бригадиром. Все видел. Видел, как народ на морозе бетон клал... Все видел, и холод, и голод. Сам в тридцать пять градусов опалубку делал... И вот теперь—где Днепрогэс? Нет Днепрогэса! Страдал народ, мучился, а немец все слопал в свое удовольствие.

Он снова не спеша загасил цыгарку, затянул папироску кисет, спрятал в карман, и все опять молча следили за каждым его движением, точно спра-

шивая себя, как же это так вышло, что отдали немцу Днепрогэс, где так тяжело трудился народ и работал Кройков, такой спокойный и рассудительный.

И, видно, у самого Кройкова мелькнула та же мысль, потому что он сказал:

— А почему так вышло? Потому, что плохо воюем. Очень плохо воюем!—серьезно и веско проговорил Кройков.—Затылок чешем! Беспорядка-то одного сколько, беспорядка!—вдруг резко выкрикнул он.—Пошлют какого-нибудь бойца в штаб за делом, а он идет, скот, прохлаждается, пашироску запаливает! А почему, почему? Потому что есть замечательные ребята, а есть так—пыль, плясуны. Вот они и показывают себя, плясуны: бегут! Бегут, чорт бы их взял с их матерью!—крепко выругался Кройков, помолчал, вытер кулаком пот и уже спокойно сказал:

— Человек должен свой долг знать. Если ему сказано стоять—должен стоять, сказано итти—должен итти... А у нас? Скажешь какому-нибудь разявие «стой», он идет, скажешь «иди», он стоит. Воспитали! С самой школы ему все: ах, умненький, ах, хорошенький, ах, ах, ах!—заахал сердито Кройков.—Вот он и вырос—умненький. Разве он может долг понимать! Ему музыку подавай—спляшет. Это он может! А воевать? Нет. Хватит! Этак всю советскую землю можно провоевать!—вдруг резко и гневно сказал Кройков и хлопнул по парам шершавой, мускулистой ладонью.—Да погоди, погоди!—сердито крикнул он старшине, который вошел в землянку с термосом и котелками.—Погоди с ужином, дай доклад кончу!

Он примолк, собираясь с мыслями, прерванными приходом старшины. Стояла мертвая тишина,—видимо, речь Кройкова произвела на бойцов сильное впечатление.

— Вот, братцы, какое дело!—сказал Кройков.— Стонет народ под немцем, сильно стонет, и много немец разрушил нашей земли, много всего пожег, порубил... А теперь баста! Есть приказ страны, партии, товарища Сталина. Вперед!—есть приказ. Завтра с утра наступление. Завтра, товарищи, пойдем советскую землю освобождать. Будет тут и кровь, и горе, и раны—все будет! Ничего не поделаешь—долг, присяга, надо идти. И мы пойдем!—крикнул он.— А если какой танкор побежит, так ему пуля в спину! Будем, товарищи, драться, как большевики, покуда в нас кровь, а кого из наших убьют, так тому честь и вечная слава!

Кройков умолк, снял карту Европы, свернул ее в трубку, рассучил рукава, застегнул пуговички на запястьях и взглянул на слушателей.

— Вот и весь доклад!—сказал он вдруг растерянно и смущенно.

Ужинали чинно, без шуток: доклад очень поправился. После ужина стали просить Кройкова спеть сибирские песни—он был мастак по этой части. Кройков долго отнекивался,—он был недоволен собой, его доклад казался ему самому сбивчивым и неполным. «Даже о международном положении не сказал и о немецких зверствах»,—досадливо думал он.

— Пет, нет, спой!—твердил Милкин, тот самый боец, которому Кройков сделал замечание.—Спой про то, как охотник в тайге заблудился да сорок дней проблуждал.

— Ну, разве про это,—нерешительно согласился Кройков и начал тихонько петь.

Странная песня! Не было в ней ни ясной мелодии, ни припева, но слушали ее, затаив дыхание. Необозримость сибирских лесов, гул ветра, запах хвои



и дождя—в ее причудливо слетающихся словах. Идет среди этих вековых деревьев сибиряк-охотник. Сколько дней он уже идет? Много дней. Бьет его ветер, хлещет дождь, нападает на него дикий зверь—все ничто этому человеку! Силы оставляют его, он падает, он ползет. Но ползет и ползет—не сломишь его! И опять ветер, и опять дождь, и уже вышли патроны, и нападает на него стерегущий во тьме враг, и долго катаются они по ночной траве в смертной борьбе. Враг убит, и опять идет вперед человек.

Он дойдет, добредет,  
Не горюй, жена, он к семье придет!

Так кончается песня.

Какая мощь в этой протяжной широкой сибирской песне! Да есть ли сила на свете, которая сломит народ, сложивший такую песнь!

\* \*

Еще затемно начала бить наша артиллерия, и бойцы, ежась той незаметной дрожью, которая происходит от нервного ожидания, холодного утра и короткого прерванного сна, глядели туда, где вешивали желтые шары пламени и куда им сейчас предстояло идти.

Командир отделения, высокий Перчаткин, стоя за деревом, то и дело поглядывал на ручные часы и всматривался в лица своих бойцов быстрым, ободряющим взглядом сообщника, точно говоря: «Ну, вот сейчас!.. Терпение, терпение!.. Теперь скоро... А холодно, чорт побери!..»

Чем ближе к сроку, тем медленней и медленней двигались стрелки часов и на последних пяти мину-

тах завязли настолько, что Перчаткин в нетерпении отвел от них глаза, задумался о чем-то, и когда опять посмотрел на циферблат, то выяснил, что уже просрочил полминуты.

— Вперед!—торопливо и резко скомандовал он.

Быстрым шагом, почти бегом, используя скрытые подступы, переступая валенками по примятому передними рядами снегу, бойцы отделения двинулись вперед, на запад. Первые две сотни метров отделение прошло без помех, но затем, как только бойцы вышли из леса, противник начал сильный прицельный минометный и пулеметный обстрел. До рубежа накопления для атаки, намеченного командиром роты, оставалось метров четыреста—местность была открытая. Ввиду мощного огня противника Перчаткин применил короткие перебежки по одному. Каждый боец с выходом на рубеж перебежки немедленно окапывался, то там, то тут над белой равниной вздымалась блестящая снежная пыль, точно проплывал крохотный, сиротливый дымок.

«А не плохо пока дело идет!.. Совсем не плохо!—думал Перчаткин, намечая глазами новый рубеж перебежки и первым, согнувшись, подбегая к нему.—Теперь уже недалеко, вот, совсем недалеко!»—соображал он, падая в снег и чувствуя, как плотная морозная пыль обдаёт его горячее лицо.

Мина хлопнула совсем рядом, взрывная волна повернула Перчаткина на бок. Тут же быстро-быстро зачиркало по снегу что-то крохотное, невидимое, жужжащее. «В меня пулеметом бьют!»—подумал он, вжимаясь всем телом в снег. Новый разрыв. Мелкие острые брызги хряснули и рассыпались на руке Перчаткина.

— Эге!—громко сказал он.—Этак и помереть

можно! Сыпет, чорт!—Он взглянул на руку и убедился, что разбилось стекло на часах.

«Ну вот еще новости!—досадливо подумал он.—Где я теперь стекло-то найду? В Москву, что ли, ехать? Да как же это я его так, честное слово!»

Вскоре отделение попало под артиллерийский налет, но Перчаткин, не растерявшись, смелым броском вывел его из-под огня.

— Ей-богу, не плохо!—вслух сказал он, выпрыгнув в овражек, назначенный рубежом накапливания для атаки.—Ай да Перчаткин!.. Ну молодец, знает дело!

— Чего это?—переспросил выпрыгнувший тут же за ним боец Сафонов—тот самый, что ухаживал однажды в Тамбове за продавщицей парфюмерного магазина.

— Да ничего, так, мысли,—смутившись, сказал Перчаткин.—Вот стекло на часах разбил,—добавил он, радуясь возможности перевести разговор на другую тему,—где я его теперь почию! В Москву ехать?

— Ты выживи сначала, а потом часы чини,—строго ответил Сафонов, не взглянув на часы.

Перчаткин присел на корточки, посмотрел назад и, уловив сигнал командира взвода, отдал приказ готовиться к атаке. Бойцы поспешно дозаряжали ружья и подготавливали ручные гранаты. Где-то рядом, на гребне овражка, коротко и бойко тарахтел пулемет Крйкова.

Перчаткин привстал, пригнулся, недвижно устремившись всем телом вперед, точно выжидая какой-то подходящей, ему одному известной секунды, и, крикнув вдруг: «Отделение, в атаку, за мной!»—выбежал из-за укрытия.

Бежать было недалеко, по немцы открыли по

атакующим бешеный плотный огонь. Этот огонь прижимал человека к земле. Спина сама сгибалась, ноги подкашивались, стоило невероятных усилий передвигать их. Все существо человека, все силы его разума и инстинкта, все то в человеке, что радуется жизни и ненавидит смерть, кричало, стучало, молило: «Ложись, ложись!»

Движение, как камень, брошенный вверх, постепенно замирало. Нужен был новый толчок, чтобы придать движению силу.

— Ура!—что было силы крикнул Перчаткин.

— Ура!—подхватили бойцы. Этот простой возглас стал (неведомыми путями) тем самым искомым толчком, веселым и бесшабашным, рождавшим (на смену обычному, осторожному) повый, удалой разум, новый, не знающий страха, инстинкт—смять, раздавить, отбросить врага!

Но и этот толчок не мог действовать бесконечно, а до немцев еще оставалось метров пятнадцать. Перчаткин сам чувствовал, как уходит сила толчка, как опять немислимая тяжесть пригибает к земле тело, как подгибаются ноги: ложись, ложись!

Однако в этот решающий момент пришло в действие то, чего не видит атакующий, но что происходит в душе атакуемого: постепенное иссякание стойкости. Ведь у атакуемого тоже был разум и был инстинкт. И при виде этой неуклонно надвигающейся лавины бегущих, кричащих, несущих смерть людей, этот разум, этот инстинкт и все то в атакуемом, что радуется жизни и ненавидит смерть, стало кричать, стучать, молить в едином порыве: «Беги, беги, все кончено, беги!.. Не останавливать!..» И в тот момент, когда Перчаткину уже показалось, что атака совсем захлебывается, какой-то невидимый рубеж был прой-

ден, немцы дрогнули и, бросая оружие, кинулись назад по ходам сообщения.

— Ура!—крикнул Перчаткин и с ходу метнул гранату.

— Ура!—подхватили бойцы и, чувствуя, как захлестывает дыхание и сердце этот новый, последний, торжествующий крик, которого уже не заглушить ничем, бросились за Перчаткинским, вломились во вражеские траншеи и, добывая немцев штыком и гранатой, перепрыгивая через зарядные ящики, котелки, брошенные винтовки и автоматы, вырвались, задыхаясь, к околице деревеньки, видневшейся на холме...

...Связанные из взводов еще затемно прибыли на командный пункт роты. Петр, не спавший всю ночь, бледный, с глубоко запавшими глазами, на рассвете снова разослал их по взводам, чтобы в последний раз уточнить все детали атаки. Потом, чтобы успокоиться и скрыть от окружающих волнение, шел бриться. Он брился на снежной полянке, при тусклом свете зарождающегося дня. Парикмахер-боец работал весело, споро и рассказывал о том, как хорошо было поставлено дело у них в парикмахерской в Туле.

— Приходишь—все чисто, прибрано, кассирша на месте, умывальники вымыты, всюду таблицы: «Будьте взаимно вежливы»...

— Что же, ты без таблички не знаешь, что надо быть вежливым?—спросил, думая о своем, Петр.

— Мы-то знаем,—спокойно сказал боец,—клиенты не допонимают.

Он сделал последний, уверенный и галантный взмах бритвой, с треском сложил ее, вытер Петру салфеткой лицо и стал спрыскивать волосы из пульверизатора.

— Лысеее!—сказал он вежливо, но значительно.—  
Надо касторкой мазать!

— Ничего,—хмуро промолвил Петр,—буду жив,  
так и лысым невесту найду.

Боец коротко засмеялся остроте начальника и  
сказал так, словно между ними был долгий задушев-  
ный разговор:

— Д-да!.. Для невесты—жизнь первая вещь. Это  
точно!

Когда заработала артиллерия, Петр занял наблю-  
дательный пункт. Атака началась точно в срок.  
Взводы продвигались не плохо, и уже через десять  
минут после начала боя Петр перенес свой наблю-  
дательный пункт на полкилометра вперед. Связные  
подползали и уползали. Второй взвод попал под  
сильный огонь и залег. Петр послал два отделения  
и два пулемета в обхват группе немецких автомат-  
чиков, которые заставили взвод залечь. Автоматчики  
были сбиты, но взвод не то из-за больших потерь,  
не то из-за нерешительности командира продолжал  
лежать.

— Да что они там? Вперед, вперед!—бешено  
крикнул Петр, словно его могли слышать во взводе.—  
Скорей туда!—крикнул он связному.—Скажи: вперед!

Связной быстро пополз, втянув голову в плечи,  
оставляя на снегу извилистый след. Как только он  
отполз метров на пятьдесят, Петр увидел, что из-за  
рощи, по единственной дороге, прямо на второй взвод  
двинулись два немецких танка и за танками темные  
разбросанные пятна контр-атакующей немецкой пе-  
хоты.

— Правильно!—проговорил Петр.—Бьют туда, где  
разявы!—сказал он даже с некоторым злорадством,  
словно удовлетворенный тем, что дело идет правильно,  
по-военному.

Из-за леса грохнули сорокапятимиллиметровки. Один из танков вспыхнул, другой приостановился, стреляя из пушки. Но немецкая пехота разом рванулась вперед и, тарахтя автоматами, стала приближаться ко второму взводу. Взвод лежал попрежнему, вяло отстреливаясь.

«Ну что они там? Уснули?»—в нетерпении подумал Петр про второй взвод.

Едва он успел это подумать, как увидел, что один из бойцов взвода вдруг поспешно пополз назад и, привстав, побежал, пригнувшись к земле, за ним другой, третий...

— Что? Что такое?—пробормотал Петр. Он был бледен, как полотно.

«В такой день, в такой день!—пронеслось у него в голове.—Позор на всю армию!»

— Вперед!—гаркнул он и, не помня себя, бросился наперерез бегущим, спотыкаясь, увязая в снегу, напад, вновь поднимаясь.—Куда? Вперед! Вперед!—кричал он.

Бегущие присели на корточках в снег, тревожно оглядываясь на крик. Этот крик подбегавшего командира как бы пробудил их. Они точно сейчас только проснулись и ошалело моргали глазами, не совсем понимая, что происходит. И как только Петр поровнялся, тут же, нерешительно переглядываясь и отирая рукавами шинелей снег с мокрых лиц, потянулись за ним.

— Вон оно какой театр!..—громко сказал один из них.—Бьет немец, жарко бьет!—добавил он, как бы оправдываясь.

В этот момент справа зазвучало «ура», из-за холма показалась группа наших бойцов, застучал пулемет, и немецкая коптр-атакующая группа, смя-

тая лихим ударом во фланг, начала беспорядочно отступать в лес, преследуемая сразу дружно поднимшимися бойцами второго взвода.

«Перчаткин!—узнал Петр бойцов, ударивших во фланг.—Ай, молодец! Ну молодец!—торжествуя, думал он, продолжая бежать и задыхаясь от бега.—Так, так их, Перчаткин!»

Точно: это был Перчаткин. Прорвав укрепленные линии немцев и увидев группу вражеских солдат, шедших в контр-атаку, он с ходу повернул свое отделение и нанес удар справа. Потом, убедившись, что удар удался и что здесь докончат дело без него, снова вышел на направление, указанное ему в задаче.

Бой теперь шел уже посреди деревни, в садах, огородах. Стреляли из окон, из проломов стен. Перчаткин с противотанковой гранатой в руке полз к одному из каменных домов, откуда шла особенно ожесточенная стрельба. Он уже подползал, когда что-то глухое, тяжелое ударило его в спину. Все сразу ослабло в нем, горло стало сухим, и сердце забилося в таком беспомощном, невыразимом, смертельном испуге, какой бывает только в детстве.

«Есть! Убили! Готов!»—подумал сержант Перчаткин. Но боли не было, и сколько ни прислушивался Перчаткин, он не ощущал ничего, кроме той же слабости и сухости в горле.

«А может, и ничего,—в великой надежде подумал он,—может, так, просто споткнулся».

Но пошевелиться он не мог. Дрожь в теле понемногу утихла, лежать было хорошо и спокойно, очень хотелось спать, но невозможно было закрыть глаза. Веки отказывались повиноваться, так же как и руки. Перчаткин лежал, обводя все вокруг испуганными, недоуменными, чего-то ожидающими гла-



зами. Потом и это ожидание сменилось легкой спокойной истомой.

«А хорошо!—подумал Перчаткин.—Ах, хорошо, спокойно».

Все, что он видел, было снег, край забора, голая сухая осина да оконце в приземистом сарае. Это был метр родной земли, отбитой у врага, та самая пядь земли, которую надо было защищать, не жалея крови и самой жизни своей. Снег тихо искрился,—казалось, можно было разглядеть каждую крупинку его. Синее небо с тяжелыми облаками отражалось в оконце сарая. Осина покачивалась на ветру. Вокруг осины, вздымая снежную пыль, легонько посвистывала русская поэмка. Пахло не то морозом, не то овчиной, не то яблоками, не то свежесрубленным на морозе деревом. Прилетел далекий дымок, завился вокруг колев забора, и сразу колья точно поплыли куда-то, легкая тень метнулась по снегу, запахло печью и хлебом. И все это был только метр земли—пядь воздуха, неба, сарая, забора, крохотная, белая, голубая, морозная песчинка России.

«Ах, как красиво!—подумал Перчаткин.—Как хорошо, как красиво!»

Он подумал о том, что, сколько ни ехал он из Сибири сюда, на фронт,—все правилось ему, все было красиво. Прекрасна была Обь, красива была бурая заволжская земля под дождем, красивы были дороги, леса, обозы, шлагбаумы, станции, кирпичи, стены, крыши.

«Какая страна!—с уважением подумал Перчаткин.—Какая большая красная страна!»

Вот он, Перчаткин, лежал в снегу на крохотном клочке русской земли, и этот клочок отбил

у врага оп, Перчаткин, и эту осину, этот забор, эту голубую и белую песчинку неба, воздуха, снега вернул стране оп, боец Перчаткин. Это была его земля, политая его кровью, отбитая им у немцев.

«Ах ты, милая моя!—подумал вдруг Перчаткин с такой нежностью, что слезы выступили у него на глазах.—Ах ты, милая моя, красивая!»

Веками стояла эта прекрасная русская земля, и веками пытались иноземцы поработить ее, и каждый раз вставали русские люди и пядь за пядью отбивали у врага землю, орошая ее своей кровью. И вот пришел черед драться Перчаткину. И он дрался, и он тоже отбил у врага клочок земли, этот сарай, этот забор, этот дымок и принес их в дар счастливому будущему страны—крохотный дар, но ведь как мал и он, Перчаткин, в сравнении со стеной стали, огня и железа, что противостояла ему. Пусть же то будущее помнит его! Пусть в день победы напишут на этом клочке земли: «Отбил у врага боец Перчаткин!..»

— Сделал, что мог!—громко сказал Перчаткин тому будущему.—А если мало сделал, то так уж вышло!

Кто-то дотронулся до Перчаткина, тело его подняли, понесли, и сердце, успокоившееся было в тихой истоме, вновь затревожилось и забилось.

Потом все грохнуло стремительным взрывом, в мозгу поплыли красные пятна, и мысль: «Есть умираю!» пронзила Перчаткина в тот самый момент, когда военврач, в сапогах и в халате, осмотрев его рану, сказал:

— Этот выживет... До утра пусть побудет здесь, а потом в медсанбат... Много еще раненых, Мария Евгеньевна?

— Все подвозят,—ответила, что-то записывая, Мария Евгеньевна,—все подвозят, подвозят!..

\* \*

В это утро немецкие линии были прорваны на всем фронте. Началось зимнее наступление. Наши войска устремились на запад. По дорогам, заваленным снегом, расчищаемым сотнями лопат, только что освобожденным от мин, шли нескончаемые колонны. Машины увязали в снегу, их вытаскивали, проталкивали. Вперед! Вот застрял в снегу грузовик. Бойцы, идущие сзади машин, спешат ему на выручку. Короткие слова команды, колеса буксуют, снежный вихрь залепляет глаза, оседает на шанках, на полущубках, и грузовик, свирепо жужжа, выползает на верный путь. Его экипаж взбирается на площадку. Вперед!

Мосты были взорваны врагом. Их восстанавливали,—щелчки брызгами летели из-под топоров. Связисты тянули провод, минометчики шарили по обочинам, лопатки и цилиндрики извлеченных мин лежали поодаль, огражденные надписями на досках, прибитых к шестам: «Внимание: мины!»

Но еще не все мины были выловлены. Иногда раздавался взрыв, рыжий дым взлетал над дорогой. Мина! Санитарструктор делал раненому перевязку при свете автомобильных фар.

Первыми были пройдены так называемые «нейтральные» деревеньки—те, что стояли между нашими и вражескими укрепленными линиями. В течение месяца снаряды, мины медленно разрушали эти деревеньки, по улицам пробирались разведывательные отряды. Многие дома были разрушены, сожжены. Но в тех, что уцелели, заметны были следы домашнего

обихода. Жители бросили дома, уехали, но деревенька осталась в «нейтральной зоне», и вещи сохранились в том виде, в каком их покинули хозяева: шкаф с посудой, недопитая кружка с замерзшей водой на столе, картошка от последнего ужина, детские куклы, стенные часы с застывшими, мерзлыми стрелками, забытая трубка с табаком, корыто, хозяйские фотографии: невеста с фатой, жених в галстукe, с гладко примазанной головой—дело, видимо, давних дней.

На западе зарево—будто воспален синий безоблачный горизонт. Слышна канонада. Там идет бой. Там от деревни к деревне продвигаются наши бойцы. Они гонят врага от Москвы, они сражаются днем и ночью и в короткие часы отдыха спят, прикорнув на снегу: наступление, нет времени рыть землянки. Спят под синим январским небом, положив под руку винтовку.

И снова идут среди снежных полей, под минами, пулями и снарядами, в багровых огнях пожарниц. Вперед!

## Глава 8

Случилось так, что Петр получил возможность на денек поехать в Москву. Произошло это 31 декабря, в канун нового года.

Приехав в Москву, Петр тут же поспешил на телефонную станцию, чтобы заказать разговор с женой, жившей с пятилетним сыном Яшкой в далеком уральском городке. Потом, закончив дела по командировке, решил зайти на квартиру к сестре Оле,—нет ли чего нового о ней.

На этот раз заснеженный, покрытый огромными сугробами переулочек показался ему еще незнакомой,

чем тогда, почью. Дома стали как будто ниже рядом с этими снеговыми горами, выросшими у тротуаров, в палисадниках, за заборами.

Солнце ярко светило в голубом безоблачном небе, все вокруг выглядело радостно, беззаботно, и даже в знакомом подъезде меньше пахло щами и пылью. Но кошками пахло попрежнему. В ответ на стук Петра раздалась за дверью шаг, и голос, памятный Петру по осеннему посещению, произнес:

— Кто там?

— Это я... брат Ольги Котельниковой.

— Брата у нее нет.

И почти в точности повторился осенний диалог:

— Как это нет? Я—ее брат...

— Не знаю, не знаю... Кавалеры есть,—знаю...

А брата не знаю.

— Да откройте вы!—бешено крикнул Петр.—Я с фронта, мне некогда!

И только, когда Петр, махнув рукой, стал спускаться вниз, дверь распахнулась, и жилец сказал:

— Послушайте, брат!

— Что?

— Входите!

В квартире было очень холодно, от дыхания клубами вздымался пар. Кастрюли и керосинки, стоявшие в коридоре на сундуках, покрылись инеем, а жилец был одет в шубу, в валенки, в какие-то вязаные шерстяные рейтузы, и нос у него посинел от мороза. В Олиной комнате все обледенело, на комод попрежнему лежала шаль, а на столе петроутое с осени письмо Петра к Ольге.

— Ольга Сергеевна не приезжала?

— Нет.

Петр помолчал.

«Написать, что ли, еще одно письмо?—подумал он.—Эх, черт побери, не спросил тогда Олиного адреса у этой противной девчонки».

Он сел за стол, вынул из планшетки бумагу, карандаш и стал писать.

— Ну, как на фронте?—спросил жилец.

— Дела идут.

— Говорят, хитер немец?

— Не хитрее нас с вами.

— Говорят, он нарочно отступает, заманивает...

А потом как ударит!

— Кто это вам говорит?

— Знакомые говорят...—неопределенно сказал жилец,—умные люди... Говорят, он в Москву десант высадит? Правда это?

— Послушайте, вы можете помолчать?

Жилец сердито и обиженно забубнил. А Петр запечатал письмо в конверт и сказал:

— Передайте Ольге Сергеевне, что был брат. Ясно? И болтайте поменьше. Никакого десанта не будет! Ясно?

— Ясно, но не совсем,—ответил с достоинством жилец.—Все в жизни бывает!

Петр вышел, жилец запер дверь, открыл Олину комнату и остановился перед шалью. С этой шалью у него были сложные отношения. Как известно, он решил взять себе Олину шаль, едва только немцы возьмут Химки. Химки не были взяты, но он все-таки взял шаль. Потом, когда немцы были отбиты от Москвы, опять положил шаль на место. Теперь, проведав про десант, он окончательно решил взять себе шаль. Однако слова Петра смутили его.

И вот он стоял перед шалью, погруженный в

глубокую задумчивость. Взять или не взять? Голова его разрывалась от мыслей.

Петр вышел на улицу. Был новогодний вечер. Не раз в такой же вот новогодний вечер проходил Петр по Москве. Он любил эти праздничные толпы, эти матовые огни среди асфальтовых дорог, гул магазинов, сиреневую пестроту витрин, эту спешку к условному часу—веселое, доверчивое приближение к таинственному рубежу, означавшее нечто новое, скрытое от человеческих глаз, но легкое и светлое, как этот вечер.

Теперь темнота покрывала Москву, магазины были закрыты. Невывезенный снег лежал на площадях. Уличные часы светились синим защитным светом.

Но и таким город был прекрасен. Какая-то великая красота невзгоды, упорства, грусти и силы лежала на нем. Что-то пронзительно-близкое, торжественное и гордое было в этих примолкших, слепых домах. Словно самые эти дома изменились, словно душа их стала жестче, упорней, значительнее и милее, как значительнее и милее становится переживший несчастье человек.

«Какой город!—думал Петр.—Какой прекрасный бессмертный город!»

В этом, безмолвии была сила, в этом мраке была нежная красота, в этой пустынности было горе великого города, та мера молчаливого, гневного горя, которая сама по себе уже залог победы.

«Вот бы художник нарисовал этот вечер,—думал Петр,—вот бы художника сюда! Почему нет художника?»

На телефонной станции было пусто, удобные отлакированные кресла поблескивали в синем свете. За матовым стеклом сидели телефонистки в шубах

и в теплых платках. Слышалась обычная ночная шумная междугородняя переключка:

— Свердловск, Свердловск! Почему не дасте пятнадцать восемьдесят? Абонента нет? Новосибирск! Новосибирск!..

Петру не пришлось долго ждать. Едва он предъявил свой талончик и уселся в кресло, как его вызвали в кабину. Далекий женский голос сердито частил:

— Котельников! Где Котельников? Нет Котельникова. Разъединяю.

— Я тут!—испуганно крикнул Петр.

И сразу же услышал нежный и ясный голосок пятилетнего сына Яшки:

— Я слушаю! Слушаю!

— Яшка!—крикнул Петр.—Это ты, Яшка?

— Я.

— Яшка, ты меня не узнал?

— Не узнал.

— Что же ты, мой голос забыл?

— Забыл,—недоуменно сказал Яшка.

— Это папа говорит... Папа!

— Папа? Ой, папа!..

Что-то заерзло и завсхлинывало в трубке, и Яшка тонким и мокрым от слез голосом произнес:

— Где ты, папа? Далеко? Приезжай!

— Приеду, приеду,—сказал Петр, чувствуя, что у него самого слезы выступают на глазах.—Позови маму!

— Мамы нет... Папочка, ну, сейчас приезжай! Сегодня.

— Приеду... Да где мама?

— Она? Папа, она на работе. Ты сегодня приедешь?



«Вот незадача,—досадливо подумал Петр,—в кон веки выбрался позвонить и не застал».

— Яшка, ты что делаешь?

— Я сижу.

— Где сидишь?

— У телефона сижу... Папочка, тебя не убили?

— Не убили, Яшка. Ты-то здоров?

— Здоров. Папа! Ты все на фронте?

— На фронте.

— А тебя не убьют?

— Не убьют.

— И мама говорит—не убьют. А все-таки приезжай!

Помолчали. Петр, тревожась, что время уходит, заторопился:

— Яшка! Еще что-нибудь расскажи. Про маму. Какие новости?

— Папочка, ну, больше никаких новостей нет...

— Ты маму слушаешься?

— Слушаюсь.

— А руки перед обедом моешь?

— Мою,—уныло ответил Яшка.

— Мой и слушайся!—строго сказал отец.—Я скоро приеду.

— Папочка, приезжай!—откликнулся Яшка, и голос его опять стал тонким и мокрым.—Папочка, золотенький, приезжай!..

— Приеду...

— И береги себя... Когда пули летят, ты на землю ложись... И уходи, если бомба взорвется. Уйдешь?

— Уйду.

— И скорей приезжай!

— Приеду. Что тебе привезти?

Что-то затренькало, затрещало в телефонной трубке, и голос телефонистки пробормотал:

— Время истекло. Разъединяю.

— Папочка, подожди!—испуганно крикнул Яшка.

— Разъединяю.

— Ничего не привози!—заплакав, сказал далекий, недостижимый Яшка.—Только сам приезжай! Не убивайся!

Разговор окончился. Петр вышел из кабины. На улицах было пусто. В морозной мгле мерцали огни светофоров. Куранты на Спасской башне звонко и одиноко пробили несколько раз.

Так встретил Петр новый 1942 год.

\* \* \*

Рота Петра была отведена на отдых в село, отстоявшее километрах в десяти от фронта, и бойцы тоже встретили новый год: устроили вечерку в колхозном клубе. Пришли девушки со всего села, выступил писарь из штаба. Он прочел свои собственные стихи.

Стихи эти девушкам очень понравились. А бойцам не понравились: слишком много природы.

Потом начались тапцы. Тут во всю ширь развернулся Зинякин. Он летал по клубу, как пух, пот лил с него градом, и Зинякин изящно, на лету, смахивал его концом рукава. В паузах между танцами он стоял, прислонившись к стене,—такой красивый, что все девушки не отрываясь глядели на него, и такой потный, что даже брюки на коленях были мокрые. Когда он выходил на мороз, брюки дымнились.

На девушек Зинякин не обращал никакого внимания и, приглашая танцевать, называл их дочками.

— Пойдем, дочка, цыганочку!

Кройков не танцевал, а сидел в буфете и ел. Appetit у него был огромный, и он ел весь вечер солидно, не спеша. Так же солидно, не спеша, он уплачивал за бутерброды и закуски, извлекая из штанов какой-то старинный, увязанный бечевками кошелек. Он разговаривал о войне с пожилым колхозником, который всё доказывал, что немца в лоб взять нельзя, а надо, как крупную рыбу, сперва истомить, а потом уж убить.

— Можно, можно,—говорил Кройков,—можно и в лоб взять!

— Почему же не берешь?

— А потому—разговоров много! Падо сердцем воевать, а не потрохами. Бывает так, час повоюют, а день языком чешут. А покуда язык чешут да кашу варят—немец-то на высоте и укрепится. Он на высотке, а мы внизу! Зато каша сварена!—сердито добавил он.

Он рано вернулся в избу, где жил, и тут же улегся спать. Проснулся за полночь и услышал, как хозяйка выговаривает дочери за то, что та поздно возвратилась домой:

— Ты мне эти гулянки забудь!.. А то за косу! Отец на фронте, а она хвостом вертит. Ты думаешь, я с тобой без отца не слажу? Слажу!

— Да что ты кидаешься?—отвечала дочь.—Не каждый день новый год.

— А мне хучь новый, хучь старый! Оттреплю!

Кройков послушал, повертелся с боку на бок, а потом сердито сказал:

— Ну, ты это, мать, брось! Новый есть новый, а старый есть старый!

Хозяйка накинулась на него:

— А ты помолчи! Не спрашивают! Тоже на-  
шелся! Грач!

— Грач не грач, а жизнь понимаю!

Третьего января Кройков по ротным делам был направлен на сутки в маленький прифронтовой городок. Здесь бойца подхватил репортер: узнал, что Кройков недавно в разведке метнул гранату в дом, где размещались немцы.

Кройков сидел на диване, курил папиросу и рассказывал о своем подвиге репортеру, который делает какие-то быстрые отметки в блокноте.

— Подполз к избе с огорода... засел за еугроб...  
Обождал... А потом как ахну!

— Дальше?

— Да вроде все.

— А часового не убивали?

— Не убивал.

— А сколько немцев взрывом убило?

— Да разве я считал? Как бросил, так скорей отползать!

— А офицеры были в избе?

— Не знаю.

— Да, может, это был немецкий штаб?

— Куда там штаб! Если бы штаб, так и вправду часовые бы не подпустили.

— А какая погода была? Ночь, вьюга?

— Ночь-то ночь. А вьюги не видел. Да ничего не видел. Боязно, скорей отполз!

«Ну, материалец!—думал безнадежно репортер, записывая что-то в блокнот.—Ни фактов, ни пейзажей!»

— Я все-таки запишу, что убили семь человек,—  
сказал он быстро.

— Не пишете. Не видел,—отрывисто заметил Кройков и вытер ладонью лоб.

«Да что он пристал,—тоскливо подумал он,—в чем дело?»

— Вы бы лучше вот о чем написали,—промолвил, подумав. Кройков,—напишите, что с прохладцем воюем. Поначалу-то дружно берем, а потом, покуда чухаемся, немец-то и укрепится. Очень мы уж отдыхать да курить любим. Сегодня еду,—начиная сердиться, проговорил он,—а какой-то шофер машину к обочине подвел и спит. Его за делом, небось, послали, а он спит. И это где? На войне! Вот бы этого шофера прохватить,—уже гневно и воодушевленно предложил он,—большое бы дело сделали!

— Отметим, отметим!—сказал журналист, чертя какис-то виньетки на бумаге.

Кройков вышел из редакции и пошел по главной улице городка, заходя в магазины и делая разные мелкие покупки: домино, помазок для бритвы, почтовую бумагу. Долго рассматривал хорошую тульскую бритву, пробовал на палец и на волос, щелкал пальцем по костяной ручке, вынимал из кармана аккуратно сложенные деньги и, пересчитав их, опять прятал в карман. Все же не решился купить: дорого.

Возле сквера женский резкий простуженный голос окликнул его:

— Кройков!

Это была Варя, о которой он так часто вспоминал на передовых, в окопах. Он настолько удивился и растерялся при виде ее, что стоял, переминаясь с ноги на ногу и делая вид, что занят какой-то веревкой на своих свертках.

— Кройков,—сказала Варя,—а ты все такой же. Я очень рада тебя встретить!

— П я,—пробормотал Кройков.

— Ты обедал?

— Да,—сказал Кройков,—то есть нет.

— Идем, пообедаем вместе. Хочешь?

Кройков утвердительно мотнул головой. Они пошли вниз по скверу. Кройков молчал. Он все никак не мог отделаться от смущения. И все еще делал вид, что занят веревкой на свертке.

— Я часто вспоминала о тебе,—сказала Варвара.— Ей-богу, не вру. А ты? Вспоминал?

— Нет,—сказал Кройков, то есть да.

Потом, обозлившись на себя за смущение, он спросил, твердо глядя ей прямо в глаза:

— Вы давно здесь?

— Нет, только сегодня приехала. Да брось ты этот мармелад с сахарином!—сердито выкрикнула она.—Что ты мне «вы» говоришь? Говори «ты»—по-фронтovому, как следует!

В столовой была уйма народу. Несколько раз в течение обеда начинали бить за окнами зешитки. Однако никто не обращал на них никакого внимания. Все так же стучали ножи и чей-то голос сварливо бубнил под грохот разрывов:

— Я уже полчаса жду борща!.. Где борщ? Что я, тут до лета сидеть буду, а? Или борщ, или жалобную книгу!

На улице громкоговорители громко наигрывали вальсы Шопена.

Кройков шумно хлебал щи, зажав ложку в кулак и застенчиво пряча от Вари свои оконечные пальцы, а Варя рассказывала, что приехала в городок вместе с подругой Олей и другими ребятами: лыжный отряд, отправлявшийся в рейд по тылам врага. Она рассказывала весело, оживленно своим резким просту-

женным голосом и только однажды, когда Кройков особенно шумно хлебнул щи, остановилась и произнесла с видимым удовольствием:

— Молодец, Кройков!.. Хорошо ешь!.. Ценишь еду.

На что Кройков ответил:

— А что же ее не ценить? Еда как еда! Без нее жить нельзя.

— Правильно!—сказала Варя.—Хочешь, я тебя консервами угощу? У тебя нож есть?

— Есть, как не быть!

Он полез за голенище, вынул нож, раскрыл.

— Ну и нож!—с восторгом промолвила Варя.— На что будем меняться?

— А ни на что,—ответил Кройков.—Нож, он так при мне и останется.

Понемногу он совсем оправился от смущения и стал отвечать Варе спокойно и точно. А когда подали компот в граненых стаканах, сказал:

— А я вас все вспоминал, вспоминал... Вы бы мне хоть карточку подарили.

— Получишь!—ответила Варя.—Закурим? Табак есть?

— Есть-то есть! Да ваш, небось, лучше!—возразил Кройков. Он недолюбливал делиться табачком.

— Ну ладно, закурим мой!—благодушно отозвалась Варя, сразу разгадав его дипломатию.—Ох, и дока же ты, Кройков!

Закурили. Кройков помолчал и сказал:

— Вот о чем я вас хотел спросить. Вы по мирному времени кем были? Машинистка или так просто, домохозяйка?

— Я учусь. В коммунальном техникуме. Водопровод и канализацию буду строить.

— Дело хорошее!—с уваженьем отозвался Кройков.—А электричество проводить умеете?

— Я все умею. Хочешь—электричество проведу, хочешь—избу выстрою... Слушай, Кройков! Я тебе за нож двести грамм табаку дам. Идет?

— Нет, табак у меня есть.

— Ну, кисет.

— Зачем мне кисет? И кисет есть.

— Ну, бери гуталин... Три банки.

— Не надо,—мотнул головой Кройков.—Я вам его так отдам,—сказал он вдруг и вынул из-за голенища нож.—Очень уж вы хорошая. С вами легко говорить. Вся вы мне нравитесь. И как сердитесь, и как шагаете.

— Да брось ты... Что сегодня с тобой?—ответила Варя, с удовольствием разглядывая нож и пробуя остроту его лезвия на деревянной ложке.—Ты, часом, может, тоже стихи пишешь?

— Нет, какие стихи!—сказал Кройков.—Так, к разговору пришлось. Вся вы мне нравитесь. И как говорите, и как руками махаете.

Он хотел сказать еще что-то большое, серьезное, но никак не мог подобрать подходящих слов и грустно примолк.

После обеда пошли в общежитие, где разместился лыжный отряд. Здесь встретили Олю и Мишу. Впрочем, к счастью, Оля и Миша вскоре куда-то ушли. Варя с Кройковым остались одни. Варя сказала, оглядев Кройкова:

— А ты пообносился, Кройков. Дай-ка я тебя подштопаю. Снимай гимнастерку.

— Как же так?—стеснительно возразил Кройков.—Как же этак, без гимнастерки?

— Снимай, снимай! Что же я, по-твоему, мужиков



без гимнастерок не видела? Снимай! Ну, зайди за занавеску, если стесняешься.

Кройков зашел за занавеску, стянул гимнастерку, передал ее Варе. Варя принялась за дело. А Кройков сидел на койке за занавеской и не знал, какой бы работой ему заняться. Руки его недвижно лежали на коленях.

Всю жизнь эти руки работали от зари до зари. Всю жизнь они строили, пилили, строгали, вбивали гвозди—создавали дома, сараи, табуреты, грубые крестьянские столы, рамки для фотографий и люльки для детей. Силу, великую силу строителя чувствовал в себе Кройков. Он мог бы застроить всю лежащую втуне землю, выкорчевать все леса, обратить все эти громады деревьев в дома, подоконники, шкафы, стулья,—один лишь вид лежащего бесполезно бревна зажигал огонек в его глазах и заставлял его руки сжиматься. Он мог работать без отдыха сутками подряд,—его крепкое, кряжистое тело как бы наливалось от этого неукротимой силой, становилось еще крепче.

И сейчас, на войне, он скучал по работе. Он скучал по дереву, по рубанку, по стружкам, по запаху столярного клея, по шуму и гаму стройки. Он пользовался каждым случаем, каждой минутой отдыха от войны, чтобы поработать: что-то чинил, строгал, мастерил, насвистывая себе под нос. В этой жажде работы он научился даже слесарному делу—мастерил ключи, замки, сверлил, паял. Даже часы принимал в починку.

Он много выстроил на своем веку, он знал цену каждому уложенному бревну, каждому вбитому гвоздю, и эти сожженные села, эти разрушенные дома приводили его в бешенство. Он как бы видел

всех тех, кто их строил, кто создавал. Он видел плоды работы, честной, бесхитростной работы в поте лица, уничтожаемые в полчаса фашистскими поджигателями. И гордое сознание, что он защищает эту работу, эти плоды работы бесхитростного, честного человека от лукавства, жадности и вожделиний захватчика, вора, пришедшего на готовое, твердо жили в нем. Как-то раз, в молодости, он убил конокрада. Немец был для него таким же конокрадом, желающим поживиться чужой работой, честным, правдивым советским трудом.

Сейчас, сидя за занавеской, Кройков сказал:

— А у вас здесь что-то столтик поскрипывает. Пляска отпала. Дай-кось я почию.

И стал чинить. И насвистывал песенку. Потом сказал:

— Не нравится мне ваша подруга с ее молодчиком.

— Сироп! — охотно откликнулась Варя. — Стихи пишут! Обижаются, когда я о водопроводе и канализации говорю. Сахарное мороженое! А я буду о водопроводе говорить! — запальчиво выкрикнула она. — Это моя работа, моя профессия.

— И правильно! — отозвался Кройков. — Водопровод есть водопровод, он очень нужен.

— Оля-то еще ничего... Пообтесалась на войне. Даже недавно, как я, портянки у бойца выменяла. А этот гусак только приехал, уже командует! Ну, я ему покомандую!

— Правильно! Учился — командуй. А не учился — молчи, не командуй!

— Какое учился! Он, небось, в балете учился, как Оля. У нее брат, лейтенант, тоже с балета. Прихожу к нему, спрашиваю: «Вы Котельников?..»

— Постоите, постоите!..—отозвался Кройков.—Котельников? Он высокий?

— Высокий.

— Ну, я его знаю. Это наш командир. Очень хороший.

— Кто хороший? Котельников? Ты рехнулся?

— Хороший. И храбрый. Свое дело знает.

— Слюнтяй он!

— А я говорю—хороший!

— Волосики на пробор причесал! Губки розовые! Балет, чистый балет!

— А я говорю—хороший!

— Да ты что, парочно мне наперекор?—крикнула Варя.—Ты что—поесориться хочешь?

— Позвольте, позвольте,—с достоинством проговорил Кройков.—Мы беседуем, все как следует, зачем кричать? Кричать не надо. Я и без крика уйду!

— Ну уходи, чорт с тобой!—яростно сказала Варвара.—Держи свою гимнастерку. Я думала, ты человек, а ты клюква! Иди!

— И уйду!

Он в молчании, нарушаемом лишь презрительным пофыркиванием Варвары, надел гимнастерку и вышел. Тут же она окликнула его:

— Кройков!

— Что?

— Ты куда?

— Да вы говорите—иди, я и пошел.

— Ладно. Садись. Давай мириться!

— А нам и мириться не надо,—сказал Кройков,—я с вами не ссорился... Вы мне очень приятны. С вами легко. Хотите, я вам нашу сибирскую песню спою?

— Спой.

Он зашел за занавеску, снял гимнастерку, передал ее Варваре и запел:

Эх да, велика Ангара, а еще больше Обь,  
А еще больше и краше Амур-река.

— Хорошая песнь!—заметила Варя, когда Кройков кончил петь.—Ну, гимнастерка готова. Пообстирать бы тебя, собственно, надо, жаль, времени нет.

Когда Кройков вышел из-за занавески, Варя спросила:

— Кройков, в кино хочешь?

— Пойдемте.

Зрительный зал имел фронтной вид: его заполняли бойцы с винтовками, раненые и врачи из лазаретов, медсестры в маленьких валеночках, с туго заплетенными косичками, увязанными на затылках. Все медсестры, даже самые некрасивые, пользовались большим успехом: с ними заговаривали, окликали. Они ходили табунком, хором прыскали от смеха и хором отвечали на остроги. В середине сеанса, на самом смешном месте, когда зал покатывался от хохота, в дверь быстро вошел посыльный и крикнул:

— Писарь Гаврилов здесь?

— Здесь.

— Скорей! К начальству!

Затем приходили еще за сержантом Крутиковым, за врачом Ефременко и за кем-то еще и еще. А сеанс продолжался. Картина оказалась очень смешной, и только один Кройков не смеялся; глядя на экран, он думал о чем-то своем.

Ему очень хотелось говорить с Варей. Ему очень хотелось сказать ей что-то большое, значительное. Найти какие-то сложные, горячие и веские слова, в которых содержалось бы все: и то, как он счи-

стал нужным жить и работать, и все свои самые лучшие думы, которые он передумал за тридцать лет: и о своем уважении к знанию, к прилежанию, к работе; и о том, что первое—это долг, аккуратность, порядок; и о том, что бить немца можно,—только вот не всюду одинакова стойкость—распустились в мирное время: все балы да экскурсии. Он вспомнил почему-то одного командира, который все жаловался, что у него нехватает снарядов и потому он не может выбить немцев из села, а когда подбросили снаряды, стал жаловаться на отсутствие авиации. И про этого командира тоже почему-то хотел рассказать Варя Кройков.

Но, сколько он ни думал, сколько ни подыскивал нужных слов, они не находились, и он сидел и молчал долго, пока вдруг не сказал очень громко, да весь зрительный зал:

— Варя! Какая-то ты мне родная... Понятная... Будто я тебя всю жизнь знаю.

Вокруг засмеялись. Кройков смутился и, сердито взглядываясь в темноту, проговорил:

— И что тут смешного? Вы на кино смейтесь. А тут хохотать нечего. Тут человек говорит человеку.

Когда сеанс кончился и зрители вышли на улицу, было так темно, что хоть глаза выколи. Зенитки не унимались—то тут, то там над крышами вспыхивала золотая звезда.

А потом грохнуло один раз, другой, третий, земля поплыла под ногами, радио прокричало тревогу, и над рекой в зимнем облачном небе заиграло зарево.

— Бомбежка,—сказала Варя.

Да, это была бомбежка. Бомбы свистели и ухали. Какая-то женщина пробежала мимо, бормоча:

— Алеша-то дома? Дома?

Кто-то кричал на углу:

— Ой, Маньку пришибли! Маньку пришибли!

Справа на снег неизвестно откуда разом хлынул горячечный свет, и в стеклах окон заиграли безумные огоньки. Стали слышны близкие и далекие, пересекающиеся голоса:

— Горим! Горим! Горим!

Потом раздался непередаваемый рев, переходящий в свист, свирепый воздушный удар притиснул Варю и Кройкова к стене и свалил их на землю. Прогрел взрыв, столь огромный, что силу его уже не могло измерить несовершенное человеческое ухо и лишь слабо, в полубеспамятстве отметил человеческий мозг.

Некоторое время Кройков и Варя оглушенно ползли по снегу, инстинктивно стремясь уйти подальше от места взрыва. Первым очнулся Кройков. Он помог Варе подняться на ноги.

— Ты не ранена?

— Нет.—Нижняя челюсть у нее дрожала.

— Пойдем!

Пошли. Варя шла впереди, ноги у нее подкашивались.

— Варя!—сказал Кройков.—Ничего, если я буду говорить? А ты слушай. Ладно?

— Ладно.

— Варя, я все думаю о тебе.

— Вот как?

— Да, все думаю и все думаю.

Больше он ничего не сказал, потому что опять не знал, как говорить.

Бомбежка продолжалась. Ухали бомбы, город горел; куры и петухи, хлопая крыльями, летали возле пожарниц; коровы отчаянно бились рогами о стены коровников. Сорвавшаяся с привязи лошадь промча-

лась галопом по улице и, налетев на забор, прынула вниз, к реке, по обрыву. Галки и вороны, разбуженные полупночным светом, кружились над колокольней, рыжей, как на закате. Снег, таявший на горящих крышах, струйками сбегал вниз, и ручьи, словно весной, бежали по тротуарам.

Кровь, кровь! Она была на снегу, в дымных и черных воронках, брызги крови на стенах, лужи крови на порогах, пятна крови на углах, тюфяках, которые погорельцы выбрасывали на улицу. Кричали раненые; черные от сажи, матери ногтями рыли горячую землю, ища детей; какой-то старик прополз по канаве на четвереньках, и кровь хлестала у него из живота, как вода из жбана.

— А, проклятые!—закричала Варя с такой неистовой яростью, что Кройков вздрогнул и с изумлением поглядел на нее.—Проклятые!—крикнула она и погрозила обоими кулаками небу, где жужжали фашистские самолеты.—Погодите, придет наш праздник! Сочтемся! Придет! Придет!

И она продолжала стоять так, эта плотная, широкоплечая девушка, с крепкими, обутыми в керзовые сапоги ногами, со стриженными волосами, с пистолетом на поясе,—она стояла, как вкопанная, глядя в невидимое небо, откуда продолжали падать бомбы. Она стояла, стояла, и кулаки ее не разжимались, и белые губы шептали:

— Только дожить до этого дня! Только б дожить! Только б увидеть!

Да, только б дожить! Только б увидеть этот великий день, когда раздастся не голос—нет, не песнь—пет,—ликующий рев победы; когда рассыпятся в прах эти все ненавистные черные орды, топчущие чужие земли, когда навеки замрут их проклятые танки,

украшенные львами и змеями, когда взвоят от ужаса люди с черепами на рукавах, когда замолчат их пушки, сдохнут их самолеты, удавятся их ораторы, раскроются их застенки, когда закружится в последнем, предсмертном вопле чудовищный карлик, затеявший эту войну. День расплаты!

Нет, это не будет ясный солнечный день—нет, нет! Не будут петь в этот день флейты и скрипки. Нет! Это будет серый, холодный день. Темные облака будут пролетать по небу. Удары ветра вздыбят дорожную пыль и склонят до самой земли придорожные вязы. По серым, трудным, взрытым снарядами дорогам придут победители. Они придут не в праздничных одеждах. Они выйдут из окопов, из укрытий, из блиндажей в запыленных сапогах, в пробитых пулями и зачищенных шинелях, в касках, с пыльными лицами, с тяжелыми, не знающими пощады руками. Они придут в рабочей одежде войны для последней работы: расплаты. Они принесут с собой на плечах для расплаты с фашистами виселицы, воздвигнутые немцами на их земле, веревки, которыми были удушены их сестры и матери. Это будет не праздничный день, не воскресенье. Это будет суббота!

Прекрасный серый, холодный день! Сколько крови пролито ради тебя, сколько мужественных, великих сердец застыло навеки, чтобы ты мог наконец свершиться—благороднейший, справедливейший день из всех, которые прожило, протрадало человечество.

— Только б дожить! Только б увидеть!—шептала Варя.

— Сюда, сюда!—проговорил на бегу какой-то высокий человек, без шапки, в одном пиджаке.—Помогите, людей завалило.

— Идем!—решительно сказала Кройкову Варя.



И вот всю ночь откапывали вместе с другими Кройков и Варя людей, погребенных под обвалившимся домом, всю долгую зимнюю холодную ночь таскали они кирпичи, бревна, долбили мерзлую землю лопатами, кирками.

Вокруг копошились люди, на белом снегу бродили пепельно-черные погорельцы, рыдали дети, выли собаки, кричали—не мяукали, а кричали кошки.

Кройков и Варя работали в разных местах. Варя пробивала ход в подвал, она быстро освоилась с делом, и ее резкий голос отчетливо звучал в этой багровой, извилистой, мотавшейся из стороны в сторону, словно рехнувшейся, темноте.

Кройков работал в другом конце разрушенного здания,—он растаскивал тяжелые бревна. Только один раз, в середине ночи, они встретились, остановились на миг, взглянули друг на друга воспаленными от труда и жара глазами и опять разошлись.

Загорались новые и новые здания. Горел город. Горели улицы, по которым человек проходил на работу, сады, где он отдыхал и влюблялся, книги, которые он читал, стенные часы, которые отсчитывали ему время. Горело жилье человека, которое защищало его от ветра, дождя и мороза, комнаты, где человек жил, нянчил детей, боролся с невзгодами, мечтал, надеялся, ожидал счастья.

Огонь, посеянный рукою фашистского зверя, пожирал все. Горели заборы, вишневые сады, бани, магазины, вспыхнула деревянная колокольня. Люди металась среди этого вихря огня, прижимая к груди детей, волоча узлы. В канавах валялись трупы. Мертвец, поднятый вверх взрывной волной, качался на огненном дереве, зацепившись штаниной за сук.

Да будет день мести! День правды! День человека!

Утром, когда были извлечены погребенные под развалинами люди и пожары догорали, Кройков и Варя молча шли по черной оттаявшей земле. Лица у них были черные, одежда обуглилась и разорвалась. Светлело. Настал час расставания.

— Ну, прощайте,—сказал Кройков.—Пора. Еду.

— Уже?

— Да.

Они помолчали.

— Кройков,—сказала Варвара,—ты очень хороший. Знай, я редко кому это говорю. Знай, я очень сердитая.

— Я знаю.

— И знай, что мне очень хочется тебя повидать. Очень. Где мы увидимся?

Помолчали.

— Да разве теперь увидишься?—промолвил Кройков.—Разве на войне можно сказать, где увидишься?

— Знай, ты очень мне дорог, Кройков. Береги себя! Зря в пекло не лезь.

— Ладно. Да разве убережешься? Ну, прощайте.

— Прощай.

Кройков отошел, обернулся, окликнул Варвару, подошел и сказал:

— Я все думаю о тебе... Я тебе буду писать. Я тебе буду писать, а ты помни.

Это было его объяснение в любви, и это была их последняя встреча.

## Глава 9.

В начале февраля нашим командованием был разработан план отсечения крупной немецкой группировки от ее основных баз. Для выполнения этой за-

дачи надо было произвести движение по снежной целине, укрываясь в лесах, чтобы незаметно пройти далеко в тыл фашистам.

Маневр был поручен дивизии Черемитина. В полночь на 5 февраля, в безлунную вьюгу, дивизия в полном составе тронулась в путь, имея при себе недельный запас продовольствия. За пехотой следовала артиллерия, работники санитарной, штабной, интендантской служб.

Впереди, пробивая дорогу ногами и грудью своих лошадей, двигались трое конников. За ними, проваливаясь в снег по животы, саперы, вырубавшие кустарник и прокладывавшие таким способом узенькую тропинку в лесной чаще. За саперами гуськом, след в след, шли пехотинцы. Они несли на себе продовольствие, патроны, ручные и станковые пулеметы и даже минометы в разобранном виде. Передовые едва двигались, утопая в снегу. Их сменяли через каждые полчаса—столь изнуряющим был этот переход через сплошное снежное море.

По мере продвижения колонны зыбкая узенькая тропинка постепенно утапывалась сотнями ног, и позади пехоты могли уже следовать на санях пушки.

Шли не более трехсот метров в час. Вьюга преследовала колонну. Ветер порой становился таким сильным, что захватывало дыхание и бойцы вынуждены были останавливаться. Потом снова шли вперед; снежный вихрь бил в лицо, шапки, шинели, рукавицы обледеневали. Останавливались только глубокой ночью на два-три часа, чтобы немного отдохнуть, но не разжигали костров—это могло выдать расположение лагеря. Дремали, сидя, прислонившись друг к другу, не выпуская из рук винтовок, засыпаемые

снегом, и снова шли. Так продолжалось шесть дней и шесть ночей...

Только через шесть суток, когда колонна уже проникла глубоко в немецкий тыл, ее присутствие было обнаружено. Начались яростные контр-атаки врага. Но дивизия продолжала продвигаться вперед. Люди шли по белым морозным полям, под пулями, минами и снарядами, днем и ночью, утром и вечером, вперед, все вперед, под свист ветра, среди снежных крутящихся вихрей. Они брали штурмом холмы, покрытые ледяной коркой, выбивали врага из пылающих деревень, наступали без передышки, вытаскивая на лямках из сугробов завязшие орудия, проваливаясь в снег по грудь, ночью под открытым небом, бросаясь в атаку на врага везде, где он пытался зацепиться.

В голове колонны шла рота Петра. Шел Алексей Лузарек, стрелок, по профессии штукатур, высокий задумчивый парень, аккуратный, хозяйственный, оставивший жену и ребенка в деревне где-то возле Архангельска; шел Сережа Лобакин—трамвайный кондуктор, маленький круглый москвич, родившийся в этом огромном городе, знавший наизусть его просторные улицы и крохотные коленчатые зеленые переулки; шел Сафонов—по профессии пекарь, тот самый, что влюбился в Тамбове в продавщицу парфюмерного магазина и сказал Перчаткину во время атаки: «Ты сначала выживи, а потом часы чини»; шел Яков Смигло—бухгалтер, умевший как никто чинить карандаши, учивший считать на счетах старшину Дмитриева, игравший на мандолине и получавший с родины больше писем, чем кто-либо другой в роте; шли Антон Петрович Свиридов—колхозник, Алексей Спиридонович Седых—дворник, Александр

Борисович Прозоров—меховщик, Харитон Евсеевич Милкин—колхозный бригадир.

Все они шли по безбрежному снеговому морю, то тихому и солнечному, то бурному, туманному, обдавшему людей вихрем колючих, леденящих тело и сердце брызг. Еды оставалось все меньше и меньше. Уже выдавали на день сто граммов сухарей. Потом перешли на семьдесят пять. Но они шли и сражались—люди различных возрастов, различных профессий, различных мыслей, склонностей, чувств, привязанностей, различной силы, сноровки, храбрости, объединенные одной целью, одним стремлением—итти и итти вперед.

В числе других бойцов шел Серегин, тот самый красноармеец, который расспрашивал колхозниц о том, как было при немцах. Это был огромный, бородатый, широкоплечий мужчина. Волжанин, колхозный копюх. Тихий, необидчивый, добрый человек, огромной физической силы. Подобно Кройкову, который всю жизнь строгал, пилил, строил, мастерил, Серегин всю жизнь пахал, сеял, косил, молотил, жадный до работы, жадный до земли. Он любил согласный, ловкий труд, веселую упорную артельную работу—любил чисто русской любовью к согласию, к пропотевшей в труде рубахе, к мирному ужину сообща после трудового дня, под звездным спокойным небом, и к ясной, тихой беседе под вспышки и перебивы костра, под сонное трепыхание птицы и дерева.

«Добряк, работяга»,—называли его. Да, это было русское сердце с его стремлением понять смысл всего происходящего, с его надеждой на доброе и разумное движение жизни, чудесное сердце народа, которому дано знать и любить доброту хлеба, звезд, песни, плуга, коня.

Когда началась война и Серегин был призван, он знал, за что идет воевать. Его сын был техником на заводе, его дочь училась на фельдшера—и это дала ему советская власть.

Немало горечи испытал он на своем пути. Но, как бы ни приходилось ему трудно, не было никого в Советской Стране, кто бы мог презирать, унижать его. Он был человеком труда, и этого было достаточно, чтобы его уважали, его мнения спрашивали, к нему обращались за советом. И это казалось бесценно дорогим его доброму сердцу, знающему всю тяжесть труда и верящему чисто народной верой, что только работа—правда.

Это тоже принесла ему советская власть. И за эту власть, за эту правду работы, за честный, согласный колхозный труд он шел воевать.

Но, человек созерцательный, добрый, привыкший думать обо всем спокойно и трезво, он хотел понять, чего же, собственно, хочет враг, вникнуть в его стремления, мысли. Однако, чем больше он расспрашивал обо всем этом колхозниц в селах, откуда мы выбивали немцев, тем чудовищней становились для него душа, сердце, мысли врага.

Злоба и презрение—вот что владело немцем. Это было презрение к чужому дому, к чужим детям, к чужому туману над чужой рекой, к чужой одежде, обычаям, к чужому ветру, к чужим звездам! Это было презрение к чужой манере стоять, сидеть, говорить, мыслить, готовить пищу, нянчить детей, петь песни. Презрение к языку и полю, к чужой радости и к чужим слезам. Ненависть и презрение. Даже не ненависть, а злоба. Даже не злоба, а злость—сухая, бессмысленная, безжалостная злость хорька.

И понемногу Серегин понял, что война действительно идет не на жизнь, а на смерть; не только за то, чтобы не посадили немецкого ефрейторшику на русскую землю помещиком; не только за то, чтобы он, Серегин, не сгибал спины перед новым хозяином—дворянчиком-пруссакom; не только за русскую землю, но и за русскую душу. За русское сердце, горячее, незлобивое, верное в дружбе, благородное во вражде. За русский ум, страстный и беспокойный, алчущий истины, мечтательный и горячий, вспоенный широтой этих рек, плавностью этих холмов, глубиной и звездами этого неба. За русские песни, то задорные, то протяжные, рассказывающие о том, что все люди равны перед лицом земли. Да, это бой за Россию во всей сокровенной глубине ее жизни, обычаев, мыслей и чувств.

Дней через десять после начала снегового похода рота Котельникова захватила деревню Петровка, на берегу реки Вязь. Отступая, немцы успели сжечь полдеревни.

Вечером политрук Парфентьев собрал в сельсовете митинг бойцов и освобожденных жителей села.

Настроение было взволнованное и торжественное. Сначала выступил политрук. Окончив речь, он спросил:

— Кто из жителей хочет сказать?

Из задних рядов поднялась рука, потом к столу подошла женщина средних лет, с голубыми глазами на бледном, осунувшемся лице. Она была в платке, в полушубке. Некоторое время она молчала, смущенно и нерешительно вглядываясь в слушателей, теребя платок. Потом начала:

— Дорогие товарищи, красные храбрые бойцы! Здравствуйте, дорогие наши товарищи, любимые,

долгожданные, ненаглядные. Ох, ждали мы вас! Ой, горевали мы без вас! Ой, мучили нас, терзали!..

И слезы вдруг потекли по ее щекам. Она стояла, освещенная скудным светом лампы, и утирала слезы темной шершавой ладонью. Мертвая тишина. Бойцы слушали, не шевелясь, бойцы, пробиравшиеся сюда десять дней, десять ночей по снежному полю.

Женщина помолчала и продолжала:

— Каждую ноченьку слушали мы: не идете ли вы, не подошли ли? Бывало, проснешься, прислушаешься: будто шум, будто наши стреляют. Нет, скажешь себе, спи, это ветер гремит, это не наши.

Она остановилась, отпила глоток из стакана и продолжала:

— Сыночек был у меня, Саша. Все книжки любил читать, про земли разные мне рассказывал, про такие земли, где и зимы-то нет, один дождь. Все умел рассказать, да складно так... Вот сынок вчера первый вас услышал: «Мамка, наши!»—«Спи, сынок, лес шумит».—«Мамка, стреляют!»—«Спи, слышишь, ставни стучат». А сама не сплю, сердце бьется, ворочаюсь. Вышли мы с сыном тихохонько из избы, глядим через щелку в воротах. Глядели-глядели, темно, ничего не видать. «Мамка, стреляют».—«Двери, сынок, в сарае стучат».—«Мамка, наши!..» Глядим, глядим—темнота... А тут сзади немец и подобрался. Хвать меня кулаком в голову, свалил. Ну, а сыночка-то пристрелил. Нету сыночка. Три пули выпустил, всю спинку расшиб. А такой был сыночек умный, хороший, книжки читал, все книжкой хотел понять, откуда солнце, где море, где люди какие и как живут.

Тишина. Все напряженно слушали, не сводя глаз



с женщины. А она стояла, невысокая, сухонькая, с голубыми блестящими глазами.

— Дорогие бойды, родные шинельки вы наши,— сказала она,—спешите вперед. Всюду вас ждет народ, аж до самого Минска. Мучает немец народ, нет сил терпеть. Далеко слух-то разнесся, что вы идете, и каждую ночь народ слушает: кажись, пули свистят, кажись, подходят, скорей бы, скорей! Ждут вас, как я вас ждала с сыночком, с покойничком Сашей...

Через час, когда собрание кончилось, к женщине подошел Серегин:

— Сашку-то похоронили?

— Нет... Дома лежит.

— Идем... Гроб помогу сколотить. Я у начальника отпросился.

Это была обычная крестьянская изба с ее столом под иконами, с пестрым лоскутным одеялом на широкой короткой деревянной кровати, с фотографиями давно прошедших времен, со степами, оклеенными газетами и листками из тетради, испещренными детскими упражнениями по арифметике.

Подвешенная к потолку лампа скудно освещала комнату. Труп мальчика лежал на деревянной скамье, прикрытый парадной простыней, оставшейся еще от приданого матери. В изголовье лежали крестьянские бумажные цветы. Возле печки, шурясь, сидела кошка.

Серегин собрал в сарае доски и стал сколачивать гроб. Стук молотка глухо раздавался в ночной тишине.

В жестяной коробке из-под мыла лежали гвозди. Серегин работал усердно, сняв шинель и ватник, в одной гимнастерке, и казалось, что он мастерит что-то сложное, мирное, по хозяйству.

В избе все было, как всегда в поздний вечер. По-

прежнему стояли стулья, стол, висели фотографии, занавески, темнела скатерть. Но Саши не было. Стояла его маленькая старенькая деревянная кровать, аккуратно прикрытая таким же, как у матери, лоскутным одеялом. Но на кровати не было никого.

В углу лежали нехитрые, самодельные крестьянские игрушки, не нужные теперь никому. Мертвы были книжки, мертвы были крохотные ботинки с износившимися шнурками. Саша исчез. Нет Саши, и только ребячье лоскутное одеяло хранит еще его запах. Нет Саши. И не вернется он, не засмеется, не заговорит. Никогда!

— Саша!—сказала мать.—Ох, Сашенька, милый ты мой, ох, родимый! Ох, Сашенька, Саша!

И горько и неутешно заплакала, прижавшись лицом к столу.

А Серегин продолжал вколачивать гвозди в доски. Вколачивал резкими, тяжелыми, прямыми ударами, без отдыха. Гимнастерка его пристала, и на лопатках обозначились темные пятна от пота. Работал он молча, часто и трудно дыша. И только однажды, когда мать особенно громко завсхлипывала и застонала, вдруг оторвался от молотка и гвоздей и яростно произнес, обращаясь неизвестно куда, в темное, слепое от ночи окно, в самую ночь, бесившуюся за стеной, насвистывавшую в проводах, колотившуюся о ставни:

— А, ты детей убивать, подлец! Детей убивать!

И опять застучал молотком.

Ночь шла своим чередом. Это была зимняя вьюжная ночь, грозная ночь войны, пронизанная вспышками залпов и тусклым кровавым светом пожаров. Где-то далеко выла и лаяла собака. Кто-то быстро прошел под окнами, шаги проскрипели и

стихли. И снова, как кулаком, ударил по крыше ветер.

А мать все плакала, плакала.

— А, ты детей убивать, подлец! Детей убивать!— бормотал, вбивая гвозди, Серегин.

Ярость его росла. Все то огромное, что передумал он за последние месяцы, все то ужасное, что испытал его мир, столкнувшись с миром немца, выкристаллизовалось сейчас в одно великое и всепоглощающее чувство—в ярость.

«Бить его!—лихорадочно думал он, орудуя рубанком.—Бить, бить, бить! Выбить из него сердце, печенку!»

Он продолжал пилить и строгать, бледный, как полотно. Погибала его душа, обожавшая тишину, строгая и спокойная, и на смену ей вырастала другая душа: ярость. Это была ярость русского человека, бескрайная, как и его доброта, та ярость, которой не умерить ничем, для которой не существует преград, которая переплывет моря, взберется на кручи, пройдет сквозь огонь, которую не сразить пулей, не сдавить петлей, не четвертовать!

На рассвете Серегин закончил сколачивать гроб; мать положила туда мертвого ребенка. Крестьясь, они стояли вдвоем возле гроба—огромный бледный Серегин и маленькая сухонькая мать.

Потом Серегин надел телогрейку, шинель, собрал инструменты, вывел опилки и стружку, протянул шершавую руку и сказал:

— Ну, прощай! Прости, если чем обидел.

Прямо из избы он пошел к Петру, командиру роты.

— Прошусь на разведку к немцам в тыл,—сказал он,—разрешите, сделайте милость.

— Что это вдруг?—удивленно спросил Петр, глядя в него.

— Они детей убивают,—сказал Серегнн.—Прощусь на разведку к немцам в тыл.

— Придет время—пойдешь. Сейчас не пужпо.

— Прощусь к немцам в тыл,—снова сказал Серегнн.—Они детей убивают!..

\* \*

В Петровке дивизию догнала почта, и Кройков получил от Варвары письмо.

«Здравствуй, Кройков! Ну как ты там действуешь? Немцев бьешь? Меня не забыл? Я тебе выменяла хорошего табаку—отдала шерстяные чулки. Ничего, прохожу в портянках. Завтра мы уходим далеко. Конечно, правду сказать, страшновато, ну да ладно—не пропаду. Очень хочется повидаться с тобой. Очень. Хороший ты человек, Кройков, есть в тебе что-то такое, чего не понять. Но что-то очень хорошее. Кстати, как моя штопка? Не обносился опять? Вообще напиши, что тебе нужно—достану.

Ну, прощай. Много писать не умею, да и нет смысла. Помни Варвару, может, когда и встретимся. Не так уж много хороших людей на свете, не может быть, чтобы всех их поубивали. Скучно мне без тебя. Понял? Дура, что написала, а скучно. Ну да ты не заносишь, не воображай о себе и никому не показывай это письмо. Слышишь? Жму руку. В.»

Кройков долго писал ответ, черкал, опять писал, опять черкал. Наконец написал то, что нужно: серьезное, немногословное письмо.

«Пишет Кройков. Варя, я получил ваше письмо. Варя, я все думаю о тебе. Идет день—я думаю, идет ночь—я думаю. Варя, вы спрашиваете о штопке.

(Спасибо, все цело. Табак зря меняли—чумки пригодятся. Варя, вы пишете, что не убьют. Это как сказать. Но если, Варя, тебя убьют, так я сам не свой и нет для меня тогда света. Понимайте, как знаете.

Моя жизнь обыкновенная. Воюем. Варя, хорошо бы после войны нам уехать—может, ко мне в Сибирь или в какой-нибудь город. Варя, я все думаю о тебе.

С фронтовым большевистским приветом. Ваш Тимофей Кройков».

Кройков запечатал письмо, отнес старшине, выполнив свою должность почтаря, и сурово сказал:

— Не потеряй. Письмо важное.

— Не потеряю.

Старшина взял письмо, положил в сумку и пошел к машине, поскрипывая валепками по снегу. Кройков окликнул его:

— Самохин!

— Чего?

— Письмо-то не потеряй!

— Да ладно!—досадливо возразил старшина.— Не один ты писатель. Все пишут. Не потеряю.

## Глава 10

Пройдя около сотни километров по снеговой целине, дивизия Перемитина пробила дорогу для остальных подразделений армии, и значительная группировка врага попала в окружение. Задача, казалось, была выполнена. Однако, несмотря на жестокое сопротивление немцев, с которым дивизия встретилась в последние дни, Перемитин по всем данным видел, что на севере, примерно по линии Крестды—Доезжалово, в непроходимом, как казалось немцам, лесу,

имелась лазейка, проникнув сквозь которую можно было еще глубже просочиться в расположение немцев, вбить новый глубокий клин.

Эту-то операцию и замыслил Перемитин. Но комиссар дивизии Турухин решительно возражал против нее. Он мотивировал свое мнение тем, что задача, поставленная командованием, дивизией выполнена, что бойцы устали, что потери и так велики, что надо отдохнуть, оправиться от похода, подождать пополнения. Кроме того, Доезжаловский лес, с его крутыми подъемами и спусками, был в зимних условиях действительно непроходим.

Соображения были вески и дельны. Однако они имели свои слабые стороны, и за эти слабые стороны ухватился Перемитин. Ждать? Но если ждать, то немцы замуруют лазейку. Потери? Но потери будут несравненно значительнее, если, лишившись инициативы, дивизия будет стоять под ударами. Задача выполнена? Относительно. Важна идея приказа командования, и командир обязан действовать так, чтобы осуществить эту идею до конца. Лес непроходим? Этот вопрос надо выяснить, послав опытных разведчиков.

Обсуждение этого вопроса было прервано приездом политрука Парфентьева, вызванного к Турухину совместно с комиссаром полка.

Перемитин и Турухин жили в походе в одной вырытой под снегом землянке, и Перемитин волею-неволей прислушался к разговору Турухина с Парфентьевым.

Турухин был недоволен Парфентьевым. Согласно докладу инструктора политотдела, план массовой работы не выполнялся политруком во время похода. Так ли это?

Нет, по словам Парфентьева, выполнялся.

— Где и когда?

Парфентьев объяснил. По вечерам он собирал бойцов в блиндажи, в окопы, и завязывалось то, что бойцы называли «разговором по душам». Начинал этот разговор обычно политрук. Рассказывал о самых различных вещах. То заводил речь о какой-нибудь прочитанной им книге, то рассказывал сказку, да похитрей, позамысловатей, то начинал разговор об охотничьем деле, о крестьянской работе.

А потом—слово за слово—и бойцы принимались рассказывать: кто о Сибири, кто о Волге, кто о семье, кто так, просто случай из жизни, спокойный и многозначительный, как каждый русский крестьянский рассказ,—кто о войне, кто о своем житье-бытье в мирное время.

Здесь-то, среди этих разговоров, политрук как бы невзначай и поднимал вопросы, указанные в плане.

— Вот именно «как бы невзначай»,—желчно перебил Турухин.—У вас есть протоколы этих собраний?

— Нет,—озадаченно ответил Парфентьев.

— Так как же мы можем установить, что план действительно выполняется? И почему вы считаете, что обычное собрание хуже, чем эти разговоры?

Парфентьев объяснил: он полагает, что после долгого дня похода и сражений, когда каждый нерв бойца напряжен до крайности, собрание в обычном его виде слишком утомительно для бойца. В то же время разговор, подобный только что описанному, дает бойцу разрядку, создает видимость приближения к мирному обиходу, к семье, к привычным разговорам о привычных вещах.

— Вот именно «видимость»,—еще желчней про-

изнес Турухин.—В общем все это ерунда, танцкласс!—прикрикнул он.—Надо работать серьезно, как следует, по-военному. План не для того составляется, чтобы им пренебрегать! Это война, а не пикник.

Парфентьев стоял, понурив голову. Что-то в его позе тронуло Перемитина, а тон разговора Турухина настолько привычно рассердил его, что комдив, не оборачиваясь, спросил комиссара полка:

— Как дерутся люди в его роте?

— Отлично,—откликнулся комиссар, радуясь, что может поддержать Парфентьева, которому симпатизировал.—Лучшая рота в полку.

— Ну, следовательно, и делу конец!—отрезал Перемитин, уже прямо глядя в глаза Турухину.—Следовательно, и план выполняется! И лучше, чем у других!

И, озаренный внезапной идеей, он спросил, обращаясь к Парфентьеву:

— Вы можете подыскать трех-четырех отличных бойцов для ответственной разведки?

— Конечно!—сказал, оживляясь, Парфентьев, глядя на Перемитина повеселевшими, благодарными глазами.

— Так подыщите. И через час доложите. Ступайте!

Комиссар полка и Парфентьев вышли из землянки. Стоял холодный облачный день. Ветер дул резкими, ледяными рывками. Глухо шумели сосны.

— Ну, баня!—произнес Парфентьев и глянул на комиссара полка робко и выжидательно, как провинившийся школьник.—Штатский я человек, все ошибаюсь! Непривычка! Ведь хочется сделать лучше!

— Всяко бывает!—утешительно откликнулся комиссар.—Так ты кого думаешь послать в разведку?



Разведка, о которой шла речь, должна была точно установить возможность для дивизии пройти Доезжаловским лесом, а также наличие и силы немецкого гарнизона в Доезжалове. Парфентьев после некоторых колебаний выбрал для разведки трех бойцов: Кройкова, Зинялкина и Серегина. В последнюю минуту Перемитин решил послать в качестве командира разведки самого Парфентьева.

Ранним ясным морозным утром все четверо на лыжах отправились в путь. Лес оказался действительно малопроходимым, овражистым, с крутыми, иногда почти отвесными холмами. Но разведка нашла кое-какие обходы, и Парфентьев нанес их на карту. В общем, по его мнению, дивизия могла бы тут пройти. Таково же было мнение Кройкова, с которым политрук во всем советовался, так как уважал этого спокойного хмурого бойца.

Через три дня разведка приблизилась к Доезжалову—крохотной деревеньке на берегу крохотной замерзшей реки.

Установив, что в деревне находятся одни лишь обозы немцев, разведка тронулась в обратный путь. На закате она натолкнулась на немецкий патруль и вступила с ним в перестрелку. В перестрелке политрук Парфентьев был ранен навывлет в мякоть правой ноги. Наступившая темнота прервала стычку.

Парфентьев не мог самостоятельно продолжать путь. Решили, что Кройков и Зинялкин останутся с политруком и на рассвете, привязав Парфентьева к лыжам, повезут его в медсанбат. Серегин же должен немедленно идти в часть с донесением о результатах разведки и с картой обходов, намеченных

Парфентьевым. Чтобы Серегин не сбился с пути, Парфентьев приказал ему идти лесом, по держаться дороги.

Приказано—сделано. Серегин отправился в путь.

Снега, снега! Они устилали землю бескрайной пеленой, ослепительно белой при свете солнца, дымной и голубой в ночном сиянии звезд. Лес в снегу: огромные бугры под соснами, свесившими свои тяжелые обледенелые лапы.

Серегин пересек лес и прошел вдоль дороги, внимательно вслушиваясь и всматриваясь в темноту. Дорога некоторое время вилась вдоль ровных полей, затем спустилась в овраг, на дне которого проходил санный путь—накатанная твердая дорога. Ветер, вздымая тучи снега, продувал овраг насквозь, словно длинный темный коридор.

Здесь-то и напали на Серегина два немецких солдата-разведчика. Они пропустили Серегина вперед и навалились на него со спины: им хотелось взять «языка».

Серегина сразу прижали к земле. Винтовка, выбитая из рук, исчезла в снегу. Оба немца сидели на Серегине, осыпая его ударами, стараясь разбить ему лицо. Его левую руку они скручивали за спину и шарили в темноте, ища правую.

Но Серегин не давался, обороняя правую руку—единственное свое оружие. Ему удалось наконец изо всей силы ударить локтем в переносицу одного немца, который, разгорячась, наклонился слишком низко. Немец обмяк и свалился.

Тогда, пользуясь секундным замешательством, Серегин сбросил с себя второго немца и встал. Немец вскинул автомат, но Серегин выбил оружие из его рук. Они сцепились в рукопашную, обхватив

друг друга, задыхаясь от морозного ветра, от свистящих снежных вихрей.

Некоторое время они топтались на одном месте, потом в пылу борьбы сошли с дороги и провалились по плечи в снег. Звезды померкли в облаках, стало совсем черно. Снег залепил борющимся глаза, уши, носы, они беспомощно барахтались в этом снежном месиве. В конце концов они потеряли друг друга в темноте.

Когда Серегин выбрался на дорогу, то, ослепленный ветром и снегом, он первое время ничего не видел. Он увязал в снегу, падал, вставал, опять увязал. Он нашел одну лыжу, но второй никак не мог найти: ни зги не видать, поземка, черная ночь. Он шарил по дороге, слепю тычась в снегу: в пылу борьбы он потерял даже фонарик. Вдруг он увидел какую-то тень рядом с собой. Это был все тот же немец, с которым он боролся и которого потерял в снежном море и во тьме.

И снова они схватились в рукопашную.

Немец был силен и ловок. Он наносил стремительные и очень болезненные удары. Серегин, уже немолодой, начинал чувствовать одышку и слабость в ногах.

«Осилит!—пропеслось у него в мозгу.—Ленька-то, Ленька как проживет?»—подумал он о десятилетнем сыне.

Немец пригнул Серегина к земле, но тот рывком выпрямился, и оба снова слетели с дороги и забарахтались в снежном море, то погружаясь в него с головой, то словно выныривая на поверхность. Они били друг друга ногами, кулаками и головой, задыхаясь, с окровавленными лицами, к которым прилипла изморозь.

И в конце концов опять потеряли друг друга в снегу и во тьме.

Теперь Серегин никак не мог выбраться на дорогу. Безбрежный снег, словно трясина, засасывал его. Все было как в полусне, в полубреду после этой чудовищной хватки.

«Влип! Замерзну!—подумал он и лег ничком в снег, не пытаясь больше искать дорогу. Он не испытал страха при этой мысли.—Ленька-то, Ленька-то как?—думал он озабоченно.—Сноха его не обидит?.. Хорошо бы Леньку к сестре в Томск. Вот бы письмо написать... Ну, разве теперь напишешь?—насмешливо подумал он, вдруг вспомнив про то, где находится.—Как же с Ленькой-то?»

Словно ища совета, он огляделся вокруг. Та же крошечная, непроницаемая тьма. Сильно бил ветер. Снега, снега! Не было им ни конца, ни края. Они лежали, пушистые, мягкие, бездорожные.

«Много снега!—подумал Серегин.—Хорошие будут хлеба!»

Он живо представил себе, как сойдет снег с этих полей, как зацветут деревья, как начнется лето, зазеленеют колосья и встанет среди дорог живое, волнующееся море хлеба. Зашумит листьями лес. Зашьлят стада.

«Эх, хорошо!—подумал он с тем добрым, серьезным восторгом, с каким всегда думал о плодоносящей земле.—Хорошо, хорошо!»

«Нет, не убьешь!—подумал, вдруг загораясь гневом, Серегин.—Не убьешь, не убьешь, не убьешь, не убьешь!»

Знакомое чувство ярости охватило его. Он вспомнил избу, ночь, детский трупик в углу, глухой стук

молотка, крестьянку-мать, склонившуюся над столом в своем цветастом платье.

— Его-то убил!—яростно забормотал он.—А меня не убьешь! Не убьешь!

Он встал, провалился в снег, снова привстал, пошел вперед, яростно разрубая своим телом снежную целину. Ярость как бы дала ему зоркости—он сразу выбрался на дорогу. Тут же он увидел свои лыжи, винтовку. Заметил немца, лежавшего поперек дороги,—того первого немца, которого он ударил локтем в лицо. Немец судорожно пошевелился,—видимо, сознание возвращалось к нему. Серегин хватил его ногой в подбородок, и немец утих.

Серегин приладил лыжи, винтовку, взвалил на плечи немца и пустился в путь. Не прошел он и десяти шагов, как лицом к лицу столкнулся в темноте со вторым немцем, который только сейчас выбрался из снежного моря на дорогу.

Стрелять было поздно. В третий раз в эту страшную ночь схватились они в рукопашную. Оба едва держались на ногах. Но ярость придала Серегину силы, как придала ему зоркости. Он свалил немца, они покатались по снегу. Ловким маневром враг увернулся и придавил Серегина.

«Ах ты, сволочь!—в бешенстве подумал Серегин.—Ах, ты!»

Хотя солдат лежал на нем и душил его, Серегин всем своим существом, всей силой своей бешеной ярости чувствовал, что все это пустяки, что сейчас, вот сейчас он легко сбросит врага и придавит его. И действительно, как только немец больно сжал горло Серегина, тот вдруг приподнялся, в веселом, безудержном бешенстве рванул, солдат брякнулся в снег, и Серегин навалился на него.

— А, ты детей убивать! Детей убивать!—бормотал он.

Он как бы поймал того, кто убил маленького Сашу... Немец лежал, силясь освободиться, а руки Серегина все сильнее и сильнее давили его горло.

— Попалясь!—крикнул Серегин.

Он лежал, трепыхаясь, этот немец, эта мразь, поднявшая руку на тихий, спокойный, широкий мир рек, городов, пашен, мир Серегина, мир труда и добра. Он лежал и глотал воздух, как рыба, этот завоеватель. Он извивался, как червь, этот разоритель. Поджигатель. Убийца. Немец.

Бей немца, Серегин! Убитые немцы не пойдут дальше никуда. Они не сожгут, не удавят в петле, не надругаются. Им не нужны ни чужие куры, ни чужие коровы, ни чужие дети,—им проломили головы. Они не покусятся ни на чужие дома, ни на чужие мысли, ни на чужую душу,—из них выбили кости. Они никуда не пойдут. Они останутся там, где их пригвоздили. Бей немца, Серегин!

Серегин очнулся только минут через пять. Немец был мертв. Серегин, шатаясь, взвалил на плечи второго, живого немца и пешком—лыжи сломались—тронулся в путь. Он шел всю ночь. Он падал, полз, снова шел.

Снега, снега! Снега в ледяном молчании зимы. Снега, орапжево-синие в ясные дни и сирежево-синие в звездные ночи.

Через сутки Серегин приполз в свою часть. Положил немца на снег, встал, сказал:

— Вот вам «язык», держите его!

И пошел к Петру для доклада.

Расставшись с Серегиным, Кройков и Зинялкин оттащили раненого политрука Парфентьева в глубь леса. Здесь и решили заночевать—нельзя было ночью по бездорожью пробираться домой с Парфентьевым.

Выкопали в снегу небольшую яму, чтобы укрыться от ветра, обложили ее хвоей.

Зинялкин вскоре заснул. Парфентьев держался весело, но заснуть не мог: боль была зверская. Он лежал на спине, глядел на звезды, блиставшие среди облаков, и шопотом разговаривал с Кройковым, который курил козью ножку и пускал дым в рукав шинели.

То ли рана и боль, то ли глухая лесная ночь, но что-то настраивало на разговоры о жизни и доме. Парфентьев рассказывал о родном юге, о шиферных крышах, сливовых садах, белых домах под белым сверкающим солнцем. Говорил он, как всегда, хорошо, с прибаутками, и только часто останавливался в раздумьи: приступы боли, от которой пот выступал на лбу и перехватывало дыхание. Потом стал рассказывать о своем универмаге и о том, как, приехав на фронт, он почти совсем не умел стрелять, очень стыдился этого и каждый день на рассвете уходил тайком в лес, чтобы поупражняться в стрельбе.

— Бывает!—понимающе сказал Кройков.—Мы ведь с вами всю жизнь работать учились, а не стрелять.

— Ты женат, Кройков?—спросил политрук.

— Нет, не женат.

— Вот и я не женат,—сказал, помолчав, политрук.

И он стал рассказывать о том, как однажды,

несколько лет тому назад, на курорте встретил девушку Надю и влюбился в нее, ходил с ней по горам, катался на лодке. И все не решался сказать ей о своей любви. А потом пришло время уехать, и Парфентьев уехал. Он приехал в родной городок, явился в райком, его направили на финансовую работу, потом, под осень, в деревню, по линии МТС, затем в РОЮ, в райздрав... Только один раз за все это время получил от Нади письмо, ответил, не получил ответа, да так и потерял ее из виду. Он все ездил и ездил по району—то партийная, то советская работа. Ездил на чем придется: на телегах, на дровнях, на «газиках», на тракторах, на грузовиках, ходил и пешком.

Передко где-нибудь на ночлеге, в глухом поселке, он вспоминал про курорт, про олеандры и кипарисы, вспоминал лодки, горы, Надю, ее лицо, ее глаза. И, засветив огонь, в глухую ночь он вынимал из бумажника пожелтевшее Надино письмо и снова и снова перечитывал его, вникая в каждое слово. Ночь шла своим чередом, копошилась за бревенчатой перегородкой корова, дремала кошка в углу, мерцали во тьме кастрюли и сковороды, а Парфентьев читал и перечитывал письмо.

Где-то Надя? Что теперь с ней?

— Бывает!—снова глухо и понимающе откликнулся Кройков.—Дел много у партийного человека, потому и бывает!

Он долго молчал, курил, а потом вдруг сказал:

— Вот и у меня одна на примете.

— Да? Какая же она из себя?

Кройков долго думал.

— Большая,—наконец сказал он.—Да разве теперь ее встретишь? Война.



— Это верно... Война,—проговорил политрук, и оба примолкли.

Вскоре Парфентьев заснул. Теперь бодрствовал один Кройков. Он лежал, курил и думал о Варю. Он окончательно решил, что после войны уедет с ней домой, в Сибирь.

«А согласится ли?—озабоченно думал он.—Да и встретимся ли? Война».

И он все думал о том, как бы не потерять Варю из виду: ведь потерял политрук свою Надю, которую любил, да так и не сказал ей о своей любви.

«Надо бы еще одно письмо написать,—тревожно соображал он.—Куда писать? Она теперь далеко. Нет, напишу, напишу»,—твердо решил он.

Едва забрезжил рассвет, Кройков разбудил Зинякина, они опять привязали Парфентьева к лыжам и отправились в путь. Они шли строго на восток, но, пройдя километров пять по лесу, натолкнулись на лыжный след немецкого патруля и были вынуждены взять влево. Километра через два снова увидели след. Видимо, встревоженный вчерашней перестрелкой, какой-то немецкий отряд петлял рядом, возле них. Парфентьев решил притаиться и обождать. Закусили. Боль в ноге Парфентьева усиливалась с каждым часом, но он молчал.

После отдыха взяли на север. Через час тяжелой ходьбы почти вплотную налетели на трех немецких разведчиков, и только наступившая темнота дала возможность, отстреливаясь, уйти. После этой стычки Парфентьев решил глубже забраться в лес и переждать ночь: ему становилось все хуже и хуже, каждый толчок лыж вызывал непереносимую боль.

Укрылись в лесу за снежный бугор, принялись ужинать. Тут выяснилось, что Зинякин съел за день

весь свой запас продовольствия. Теперь он приставал к Кройкову с просьбами о еде, жалуясь на голод и ссылаясь на фронтовое товарищество. Кройков неохотно дал ему хлеба и банку консервов из своего пайка.

Вообще говоря, Кройков любил Зинялкина, это был его фронтовой друг, напарник по пулемету. Он любил острый язык Зинялкина, уважал его непринужденность в разговоре с людьми и охотно смеялся его шуткам. Не нравилось, однако, Кройкову то, что Зинялкин и к жизни и к делу относился, как к шутке. Кройков считал, что жизнь есть жизнь, дело есть дело и смеяться тут нечего. В нем жило всосанное с молоком матери убеждение, что к заботам, к делу нельзя относиться легко.

Зинялкин принадлежал к тому типу людей, которых Кройков называл танцорами, т. е. людей резвых, удачливых в весельи, но с ленцой, легких на перекурку, на чесание затылка, вольнистых, несолидных в слове, скучных на работе. Зинялкин был трусоват—Кройков не мог этого не заметить. Но главное заключалось не в этом—на фронте нередко бывает, что и трус преображается. Главное заключалось в какой-то разухабистости Зинялкина, в его веселой безответственности, снисходительном презрении к порядку, к делу, к рангопочитанию, в полной и радостной уверенности в своем превосходстве над всеми. Это был один из тех молодых, которые воспитаны на легком хлебе, легком заработке, легкой учебе. Зинялкин был одет так же, как и Кройков: шинель, ватник, валенки, шапка,—но, несмотря на это, Кройкову всегда казалось, что Зинялкин в плисовых штанах, в шелковой синей рубаше и в сапогах гармошкой. «Гармонизет»,—думал о нем Кройков.

Поэтому-то Кройков был недоволен сейчас просьбой Зинялкина и жалобами его на голод. Самая легкость, с какой Зинялкин съел в один день свой «ИЗ» — неприкосновенный запас, Кройков считал распушенностью, баловством.

Пожинав консервами и хлебом, Зинялкин тут же заснул. Снова бодрствовали Парфентьев и Кройков. Парфентьеву было худо. У него поднялся сильный жар. Пога болезненно пульсировала, видимо, пачиналось нагноение.

«Дело табак! Попался!» — подумал Парфентьев равнодушно, как думает о трудности своего положения тяжело больной человек в большом жару.

Чтобы отвлечься немного от досаждавшей ему боли, он стал разговаривать с Кройковым, напоминая ему, как встретился с ним в грузовике, когда ехал на фронт.

— Волновался я, брат, по правде, — сказал Парфентьев, — человек я штатский, партизнец из далекой глубинки, в первый раз на войне. Все на тебя смотрел: вот, мол, фронтовик! Все думал — не справлюсь. А ничего. Как будто не сплеховал... Вот только начальство не очень довольное, — грустно добавил он, вспомнив про свой разговор с Турухиным.

— Начальство, не знаю, как, — ответил из тьмы Кройков, — а бойцы довольные. Такой политрук — как надо! Большевик!

Они долго молчали, глядя на безмятежные звезды. Все эти дни погода стояла довольно теплая, снежная, с резким ветром. Сейчас ветер утих, но стало морозить. Мороз к ночи усиливался. «Замерзнем», — подумал Парфентьев.

— Так вы ту Падю так и не встретили? — спросил вдруг Кройков.

— Не встретил,—удивленно проговорил политрук.  
Он не сразу понял, о чем идет речь.

— Значит так, затерялась?

— Затерялась.

— И писем больше не получали?

— Не получал.

— Да, это плохо!—сказал Кройков.

Он повернулся на спину.

«Как бы Варю не затерять!— снова тревожно подумал он.— Надо письмо написать, обязательно надо. Затеряешь и не найдешь. Ищи тогда по всему свету. Война».

Вскоре Парфентьев лишился сознания и больше уже не приходил в себя. В течение двух следующих дней и ночей Кройков и Зинякин тщетно пытались пробиться к своим. Всюду бродили фашистские патрули. Кройков, Зинякин, Парфентьев оказались словно в мешке в этом проклятом лесу. Пайки были съедены, голод давал себя знать, люди едва передвигали ноги. Очень мучил мороз. Маневрируя, они плутали, и надежда на благополучный исход их маленькой экспедиции становилась все призрачней.

На третий день Кройков и Зинякин совсем ослабели. Очень трудно было с Парфентьевым. Лыжи, на которых он лежал, то и дело развязывались, приходилось опять и опять их налаживать, закреплять. Да и тащить такой груз, проваливаясь по горло в снег, по холмам и оврагам оказалось невыносимо тяжело.

Короткий зимний день длился бесконечно. В сумерках они добрались до опушки. Судя по солнцу, они шли на северо-запад. Ясный день догорал, с опушки отчетливо была видна деревенька, раскинувшаяся на холме. Кройков посмотрел в бинокль. Немцы!

Дальше идти они уже были не в силах.

— Сегодня замерзнем,—сказал Зинякин и сел в снег.

За три дня Зинякин похудел вдвое, постарел, глаза у него ввалились. Он невероятно страдал от голода. Он глотал снег, ел размельченную кору. Кройков боялся, что вот-вот он упадет, и тогда ему, Кройкову, придется тащить за собой обоих. Кройков даже уже решил, каким маневром связать лыжи, чтобы они выдержали этот двойной груз. О себе он не заботился. «Я-то вытяну»,—думал он.

Почью Зинякин сказал Кройкову:

— Кройков! Как полагаешь? Не выберемся?

— Можем не выбраться,—ответил Кройков.

— А политрук помрет?

— Может помереть... Вполне может.

— Послушай, Кройков,—сказал Зинякин,— знаешь чего? Давай оставим его тут, а сами пойдем. Ему все равно помирать. А без груза мы выберемся.

— Очумел?

— Нет, верпо слово. Подумай!

— Я те подумаю!

Тогда Зинякин забормотал:

— Да я пошутил! Пошутить нельзя! Вот люди!

«А может, и вправду шутит?—подумал Кройков. Но тон Зинякина звучал по-иному, чем его обычный шуточный тон.—Нет, не шутит!—решил Кройков.—Ну, дела! Воспитали! Легкого хлеба человек,—злбно размышлял он,—все экскурсии, музыка, подтяжки!.. Вот бы нам его в Сибирь, в плотники, ему бы там показали, где музыка, а где товарищ! Человека бросить! Дела!»

Весь следующий день они из последних сил шли,

как им казалось, на восток, таща за собой свой тяжелый груз. Но в сумерках заблудились и к ночи, полузамерзшие, очутились на том самом месте, где и вчера: на опушке, перед деревней, занятой немцами.

Ночью Кройков проснулся от странного шороха. Открыв глаза, он увидел в звездном свете Зинякина, разрезавшего ножом рубаху.

— Ты что это?

— Ухожу.

— Куда?

— Сам знаю, куда.

Он прикрепил к штыку белое полотнище—разрезанную рубаху—и стал подвязывать лыжи.

— Сдаваться?—спросил Кройков.

— Сдаваться.

— Садись, тебе говорят!

— А ты посади, попробуй!—угрожающе сказал Зинякин.—Да что дурака ломать!—уже примирительно продолжал он.—Не будь дураком, пойдем вместе!.. Четыре дня ходим, сделали все, что могли. Зря погибать тоже не надо. Нет приказа, чтобы зря погибать.

— Убью!—сказал Кройков.

— Не убьешь!—равнодушно возразил Зинякин и дружески улыбнулся.—Пойдем, пойдем! Подомался и хватит!

Он приладил наконец лыжи и заскользил по снегу.

— Назад!—крикнул Кройков.

Зинякин обернулся, плюнул и снова пошел, высоко держа винтовку с белым полотнищем. Тяжелое бешенство охватило Кройкова, та ненависть к предательству, к трусости перед лицом смерти, которую

он, сибирский плотник, впитал с колыбельной песней, возрастил и укрепил в далеких глухих лесах, на трудной артельной работе. Кройков приложился и выстрелил. Зинякин упал. Кройков подполз к нему. Зинякин был мертв. Кройков вынул у него из кармана документы, чтоб не попались врагу, и отполз обратно. На минуту его охватила жалость к Зинякину.

«Хорошо танцевал!—подумал он.—И с девками ладно играл. Ну, да ничего не поделаешь! Шкура! «Трусу—первая пуля»,—вспомнил он вдруг текст плаката, висевшего в штабе, и сразу почувствовал облегчение.

Немцы, заслышав выстрел, начали бить из пулемета, но затем успокоились. Кройков задремал. Он проснулся от толчка, его разбудил Парфентьев.

— Ну как, Кройков? Конец?—спросил полштурк.

— Да, надо быть, конец!—отвечал Кройков.

— Замерзаем?

— Да, надо быть, замерзаем.

— А где Зинякин?

— На разведку ушел,—вехотя отвечал Кройков.

Парфентьев снова забылся. А Кройков лежал и все думал, думал. Ему казалось, что он думает трезво, легко, в полном сознании, но на самом деле он тоже был в забытьи. То чудился ему лес, то мерещились избы, танки. «Замерзаю»,—очнувшись, подумал он. Он увидел Варю, она убегала куда-то, и он никак не мог поспеть за ней. «Я все думаю о тебе, все думаю, думаю!»—говорила она. «Замерзаю!»—сообразил он, опять очнувшись.—Не видать теперь Вари. А как бы хорошо с ней поехать домой. Мы с ней одинокие... Только б не затерялась, только б не затерялась!»

Так, замерзая, лежали эти два человека—политрук Парфентьев и боец Кройков. Перед ними растянулось снежное поле. Оно было невелико, но звезды придавали ему безбрежность. И казалось, что это не малое поле, а большая земля с ее снегами, дорогами, верстовыми столбами, поземками.

— Кройков!—еще раз среди ночи окликнул Парфентьев.

— Я—Кройков.

— Давай попросимся?

— Давай попросимся.

И они обнялись и крепко поцеловались, как два фронтовых товарища, два коммуниста, которые вместе жили, вместе дрались с врагом и которым вот приходится помирать.

...На рассвете Кройков почувствовал, что его подняли и понесли.

— Куда?—пробормотал он.—А, Милкин!—узнал он, приоткрыв тяжелые, непослушные веки.

Да, то был Милкин и другие бойцы из роты Петра, прошедшей в голове дивизии Доезжаловский лес и неожиданно появившейся глубоко в тылу у немцев, согласно плану, разработанному комдивом Перемитиным и утвержденному командованием N-ской армии.

## Глава 11

Лыжный молодежный отряд, в состав которого входили Оля, Варя и Миша, действовал в течение месяца по немецким тылам, нападавая на обозы, штабы, захватывая отдельные населенные пункты, истребляя немецкие гарнизоны и поджигая склады. Немцы направили против лыжников значительную группу



войск, но каждый раз отряд благополучно уходил от преследования.

Уже на обратном пути, сильно ослабленный потерями, лыжный отряд попал в засаду, был рассеян и распался на отдельные небольшие звенья, которые самостоятельно пробирались к линии фронта.

Одно из таких звеньев состояло всего из трех человек: Варя, Оля и Миша.

Миша попрежнему был влюблен в Олю. Попрежнему улучал каждую свободную минуту, чтобы подойти к ней, перешептаться, и по вечерам писал ей письма, в которых излагал все то, что говорил ей днем.

Но Оля понемногу становилась все холодней и холодней к Мише. Время, проведенное на фронте, совершенно изменило ее. Уже совсем ничего не осталось в ней от той девушки, которая всего полгода назад сдавала экзамены в театральную школу, собирала открытки актеров, плакала в кино, когда герой расставался с героиней, и мечтала о том, чтобы все— и в кино, и в книгах, и в дружбе, и в ссорах, и в любви—было гладко и счастливо кончалось. Она повидала удивительных людей этой войны, сама не раз была на краю гибели, и если плакала теперь, так от действительной боли, если восторгалась чем-нибудь, так тем, чем стоило восторгаться, если страдала от чего-нибудь, так от настоящего холода, невыдуманных расставаний, настоящих невзгод. Она видела жизнь, военную жизнь, где все протекало совсем не гладко, где не так-то часто можно было послушать рассказ со счастливым концом. Но это была суровая, правдивая жизнь. Здесь была настоящая дружба, настоящая кровь, настоящий подвиг, настоящая смерть. И эта жизнь, в которой не существовало ни сантимен-

тов, ни иллюзий, в которой голод был голодом, враг был врагом, мороз был морозом, рана была раной, а пустяк был пустяком,—вошла в ее кровь, плоть, душу и стала диктовать ей поступки и мысли.

Миша—ее первая любовь—начал казаться восемнадцатилетней девушке болтливым и мелковатым. Конечно, он не плохой парень, но по-ребячески обидчивый, самолюбивый. И главное—самозабвенно хвастливый. О чем бы ни заговорили, он рассуждал убежденно, с апломбом, будто знал все лучше всех. Попржнему с одинаковой запальчивой и раздражающей уверенностью он спорил и об авиации, и о методе соления грибов, и о Сатурне, и о качестве табака «Заря», и о стратегических планах Браухича.

Товарищи по отряду не любили его. Вечно Миша состоял с кем-нибудь в жестокой ссоре—не разговаривал, отворачивался при встречах. У него был какой-то сложный, особый учет ссор и примирений, и он считал, что всех (и во всяком случае Олю) должен горячо интересоваться вопрос о том, как он относится к Сидорову, как поссорился с Федотовым, как уличил в невежестве Яковлева.

Все это очень сердило Олю. Вмешиваясь в спор, она говорила Мише грубости, они ссорились, и тогда письма, которые ей ежедневно писал Миша, наполнялись упреками, ироническими выпадами, угрозами расстаться навеки.

Впрочем, паутро Миша, как ни в чем не бывало, опять объяснялся Оле в любви и опять вступал в споры о вещах, в которых ничего не смыслил.

Боялся он только Варвару, которая попрежнему его терпеть не могла. То и дело возникали между ними жаркие словесные перепалки. Чтобы уколоть

Варю побольней, Миша называл ее не иначе как «канализационным инженером». На это Варя отвечала:

— Ну и что же? А ты и без канализации уборной-то не построишь! Что ты вообще можешь построить?

Чем больше Оля приглядывалась к нему с той павой, серьезной душевной зоркостью, которую приобрела на фронте, тем ясней понимала, что он ничего толком не знает и не умеет, что он хвастлив, глуповат, беден умом и сердцем, что нет у него ни настоящих мыслей, ни настоящих привязанностей.

Как-то раз она решилась сказать все это Варя. Было это поздно вечером, когда обе ложились спать.

— Так он же дурак, я давно говорила,—равнодушно откликнулась Варя.—Ну, ладно, давай спать!

— Дурак, не дурак, но какой-то странный...

— Дурак! Выхляй!—решительно отрезала Варя.—Чучело!.. Ну, ладно, давай спать.

— Но меня-то он любит, очень любит!—взволнованно и задумчиво сказала Оля, как бы сама удивляясь тому, что Миша способен на такую любовь.—Любит он меня, Варя?

— Любит! И ты его любишь! Знаю! Ну, ладно, давай спать!

...Итак, теперь они шли втроем, пробираясь к линии фронта.

Они шли лесом. Варя и Миша все время пререкались о том, куда идти. Миша и тут все знал лучше всех, но так как дело шло не о пустой болтовне, а о жизни и смерти и так как Варвара неизменно высказывала веские, дельные соображения, то он вынужден был нехотя соглашаться.

Для через три, когда до фронта оставалось километров двадцать, они заночевали в пустом сарае. Варя тут же заснула. Миша сказал:

— Оля, нам надо поговорить.

— О чем?—спросила Оля. Поги у нее очень промерзли, и она соображала, как бы согреть их.

Он начал все о том же, о чем говорил каждый вечер.

— Ты любишь меня?

— Люблю.

«Надо бы валенки снять,—думала она,—валенки снять и поги спиртом протереть».

Но она очень устала, и ей было невозможно снимать валенки, возиться с чулками, с портянками.

— Очень любишь?

— Очень.

«Нет, все-таки надо снять валенки,—озабоченно думала она,—не ровен час, пальцы обморозишь».

Она принялась стягивать валенки.

— Нет, ты как-то странно говоришь! Ты о чем-то другом сейчас думаешь!

— Ни о чем не думаю.

«Эх, порвались чулки,—огорченно думала она, снимая чулки,—надо бы сейчас подштопать, а то завтра совсем замерзну».

И она стала протирать пальцы ног спиртом.

— Значит, ты меня любишь?

— Люблю.

«Пу вот теперь лучше, теплей. Подштопать чулки или отложить до утра?»

— Очень любишь?

— Очень.

«Нет, отложу до завтра, устала, сил нет... Кстати и сорочку зашью».

— А зачем ты с Савельевым переглядывалась?

— Ни с кем я не переглядывалась!

«Вот и совсем тепло. Наверно, у Вари тоже чулки порвались. Бедная Варя, устала, как сладко спит».

— Ну, и отлично, вот и уладил недоразумение!— счастливо воскликнул Миша.— А я так терзался, терзался!

«О чем это он говорит?—подумала Оля, вдруг очнувшись от своих полных заботы мыслей.— Чем он терзался? Ах да, опять все о том же! Боже мой, каждый день, каждый вечер, как граммофон! И как это глухо среди настоящего горя, настоящих страданий!»

Хотя все уже было выяснено, Миша еще раз спросил, чтобы окончательно, на сон грядущий, увериться в своей сладкой победе:

— Значит, любишь?

— Люблю.

Она развесила чулки и портянки, аккуратно обмела валенки и надела их на сухие и новые чулки, которые берегла, не надевая в дорогу.

«А ногам-то тепло. Вавтра с утра чулки почию, все будет хорошо,—уютно и успокоенно подумала она, улегшись на пол сарая и засыпая.—Нет, не люблю я его!»—вдруг спросонок, но отчетливо, ясно и холодно подумала она.

На следующий день, под вечер, наши путники остановились в лесу, в заброшенном прошлогоднем блиндажике. Необходимо было произвести разведку, чтобы установить, как лучше всего пройти линию фронта. В разведку вызвался идти Миша. Собственно говоря, ему не очень хотелось идти, но Варя высказала желание пробраться в деревню и переговорить с крестьянами о дороге, и Миша уже никак не мог уступить ей—это противоречило бы всей его

натуре. Он долго спорил с Варварой, но когда Варя наконец уступила, Миша почувствовал неприятный холодок в сердце—разведка на этот раз была делом серьезным.

Оля проводила Мишу до опушки и возвратилась. На душе у нее было тревожно и грустно. Правда, Миша ей очень надоед в последнее время своими разговорами, она теперь сама хорошенько не знала, любит ли его или не любит, но все-таки это ведь первый парень, которого она полюбила в своей короткой жизни, и первый парень, с которым она мечтала о комнате, где они будут жить, а это не вычеркнешь из сердца!

Совсем стемнело, когда Миша подошел к незнакомому селу. Он решил пройти огородами, постучать в первую избу и справиться о дороге—так не раз они делали в течение пути.

В темноте он прошел под обрывистым берегом реки. Все было тихо. Он решил вскарабкаться по обрыву. Едва он подкрался к кустарнику, глухо шумевшему на ветру, как раздался громкий крик на незнакомом языке. Мишу окружили, выбили автомат из рук, повалили в снег. Через четверть часа он уже стоял в избе командира немецкого батальона, и его допрашивали через переводчика.

Держался он хорошо. На вопрос, куда идет, ответил, что был в окружении и пробирается к своим. На вопрос, один ли он, ответил:

— Один.

Офицер изо всей силы ударил его кулаком по лицу. Три передних зуба брызнули на пол—красные, розово-белые брызги.

— Один?

— Один.

Офицер что-то сказал фельдфебелю, тот ушел и вскоре вернулся с плетью.

— Один?—спросил офицер.

«Убьют,—подумал Миша, с ужасом глядя на поднимающуюся плеть,—забьют до смерти. Как глупо! Неужели нет какого-нибудь выхода? Надо что-нибудь придумать, схитрить... Ну, скорей, скорей!..»

— Подождите!—крикнул он.

«Скажу, что не один, а когда спросят, где другие, скажу, что не знаю»,—пронеслось у него в голове.

— Я не один.

— Где другие?

— Не знаю.

— Где другие?

— Не знаю.

Его зверски избили и выбросили в сени.

Он лежал на мерзлом полу, упираясь щекой в ледяную лопату. Где-то за стеной сонно трепыхались куры. Мелькнул серый мышонок, крохотный, бархатный, приблизился, прыгнул в сторону, снова приблизился и пробежал по Мишиным окровавленным волосам.

«Попаля!—сказал себе Миша.—Вот и смерть, и как быстро! Еще сегодня днем я и не думал о смерти. А теперь погибаю... Да, погибаю... Погибаю, как мученик, не сказав врагу ничего!»

Ему вдруг страстно захотелось, чтобы товарищи были здесь и видели его подвиг.

«Не увидят и не узнают!—с огорчением подумал он.—Не любили меня, спорили, а вот теперь бы убедились».

Он представил себе, как товарищи, узнав о его подвиге, о его мученической смерти, будут говорить: «Смотрите, каков Миша: мы обижали его, а он вот

каков! Нехорошо мы с ним поступали, плохо. Ссорились, унижали. Особенно ты, Завойкин, и ты, Сафонов. Нехорошо!»

«Но ведь они не увидят и не узнают!—все с большим и большим огорчением думал он.—Никто не увидит, а я погибну. Погибну, погибну!.. Нет, как же так?—лихорадочно думал он.—Разве возможно, чтобы меня не было? Здесь что-то не так... Здесь что-то невероятное, какая-то ошибка. Есть какой-то выход, не может не быть выхода!.. Надо что-то придумать, обмануть врага, усыпить его подозрений. Скажу, что я отстал от товарищей и потерял их... Не поверят!.. Скажу, что товарищи пошли дальше, а я попал сюда... Не поверят! Почему не поверят? Ведь это вполне естественно. Не поверят! Но ведь это могло быть? Могло!.. Нет, не поверят!»

И чем дольше он лежал, чем больше думал, тем ясней убеждался, что выхода нет. Надо идти на смерть. Встретить смерть мужественно, спокойно.

«Смерть? Да, смерть! Ерунда, я так молод—и уже смерть! Да, смерть! Но ведь мне так хочется жить—и уже смерть? Да, смерть! Нет, все же где-то есть выход! Надо успокоиться, хладнокровно обдумать, разобраться по мелочам. А может быть, сказать правду, указать, где Варя и Оля?—внезапно подумал он.—Чушь!—тут же перебил он себя.—Ведь тогда их найдут, расстреляют... А что, если не найдут? Они, наверно, давно ушли из леса!—соображал он, сам не веря в это предположение.—А если не ушли? Тогда отобьются от немцев,—ведь Варя и Оля снайперы. А если не отобьются? Но почему же должен погибать я, а не Варя? Ведь я отличный чертежник, умный, начитанный, полезный человек, у меня есть много хороших мыслей и планов. А Варя? Что такое



Варя? Злюка, недоучившийся канализационный студент. Кому она нужна? Какую пользу она может принести? Разве можно ее сравнить со мной? А Оля?»

Чорт побери! В Оле заключалась самая острая, самая неприятная часть проблемы. Ведь он же любит ее, только сегодня он клялся ей в вечной любви. Ну, хорошо—Варя, ее следует проучить! Но как быть с Олей?

Однако, чем дольше лежал Миша на полу сарая, чем ближе подходила минута нового допроса, чем явственней приближалась смерть, тем отчетливей ощущал он, что Оля не так уж хороша, как ему казалось. И не так уж он ее любит. Просто увлекся. И даже не увлекся. Просто относился к ней не плохо, по-товарищески.

Что хорошего в Оле? И достойна ли она его? Нет, если судить трезво, то недостойна. Она легкомысленна, пустовата, увлекалась актерством, воображает о себе нивесть что. Мало читала. Да разве это серьезный человек, о котором может идти серьезный разговор? Нет! Но почему же тогда только оттого, что он объяснился Оле в любви, он должен щадить ее, Олю, а не щадить себя, Мишу, который так серьезен, так много читал, такой хороший чертежник и которому так не хочется умирать? Где логика?

«Переглядывалась с Савельевым!—вдруг вспомнил он, и эта юркая, ловкая мысль сразу принесла ему невероятное облегчение.—Переглядывалась? Ну, теперь пеняй на себя!»

Так он лежал и думал, и с каждой новой мыслью он становился все лучше, ценней и великолепней, а Оля и Варя становились все мельче, ничтожней, преступней. И наконец они стали такими гадкими,

никудашними, а он таким замечательным и полезным, что никакого выбора между ними и Мишей и быть не могло!

\* \* \*

Немецкий отряд, приведенный ранним угром Мишей к месту, где укрылись Варя и Оля, застал их врасплох. Обе они очень беспокоились о Мише, но прихода немцев никак не ожидали—землянка была глубоко в лесу, далеко от дорог.

Олю и Варю было не так-то легко взять—они стреляли без промаха. Землянка (очевидно, учебный блиндаж) имела не менее двух накатов и четыре пулеметных амбразуры, расположенные вкруговую. Перебегая от амбразуры к амбразуре, Оля и Варя вели стрельбу. Первые немецкие солдаты, приблизившиеся к землянке, были убиты наповал. Немцы пустили в ход автоматы. Однако, сколь ни ветхим казался блиндаж, он без труда предохранял от пуль.

Все же долго обороняться девушки не могли—они сами это отлично понимали. Немцы подползали. Одного из них Варя сразила в тот самый момент, когда он уже замахнулся гранатой.

Варя стреляла быстро, спокойно, без промаха. Ее автомат то давал короткие очереди, то сухо отщелкивал одиночные смертоносные удары. Она лежала, удобно подперев локоть, прижимаясь к земле всем своим тяжелым большим телом.

— А ну, возьмите меня, попробуйте!—бормотала она.

Она целилась не спеша—только в сердце или в голову врага. Она защищала свою жизнь сердито и упорно, как сердито и упорно она делала все. Она решила, что убьет десять немцев, прежде чем немцы

убьют ее. Но десять немцев были уже убиты, она убила одиннадцатого, двенадцатого—и все еще жила!

— А ну, возьмите меня!—крикнула она сухим, обожженным голосом, всей силой своего неукротимого сердца.—Возьмите!

— Дюжина, Олька!—сказала она.—Вот бы до пятнадцати дотянуть!

Не отходя от амбразуры, не сводя глаз с врага, она нащупала в кармане кисет, свернула папироску, зажгла, с наслаждением затянулась. И вдруг засмеялась. Ее насмешило, что немцы не могут убить их, двух девчонок, что они, две девчонки, отправляют на тот свет немца за немцем, легко и спокойно, как ни в чем не бывало.

— Комедия!—сказала она.—Они бы еще сюда батальон привели!

Эта работа—истребление немцев—ей нравилась. В этой работе не было болтовни—это было настоящее ясное дело, польза которого налицо: труп за трупом. А Варя любила все ясное, точное, резко очерченное и ненавидела все расплывчатое, неопределенное, прикрытое разглагольствованиями.

«Падай, падай!—как бы говорила она каждому убитому ею немцу.—Падай, отлично! У тебя есть жена, мать—пусть поплачут! Пусть узнают, как тяжело нам! Ты пришел побеждать—падай! Пусть твои дети будут сиротами—сколько сирот у нас! Пусть рухнет твой дом, пусть под бомбами горят и рушатся твои города! Падай, падай! Ты хотел жить, у тебя были планы, надежды, ты кого-то любил, кому-то писал,—теперь нет ничего: тьма. Теперь ты понял, что значит жечь, убивать, разрушать чужие дома, чужие надежды! Падай,—двенадцать новых вдов на

твоей земле, и это сделала я—женщина, Варвара Окнова! Понятно? Кто на очереди? Подползай!»

Больше она не думала ни о чем. Она была вся поглощена своим трудным, ясным, усердным делом: убить немца. И только однажды, когда ей удалось свалить офицера, подползшего почти совсем вплотную к землянке, она громко захохотала от восторга и крикнула:

— Эх, Кройкова бы сюда! Вот бы полюбовался!

— Что?—спросила, стреляя, Оля.

— Ничего!—отрезала Варя.

«Да где он, Кройков?—тут же подумала она.—Что с ним? Получил ли мое письмо? Вот помру, и снова будет ходить без пуговиц,—с досадой соображала она.—И куда он запропастился? Наверно, забыл? Ну что ж, пусть забыл, только бы не помер!..»

Больше она не думала о Кройкове. Все стреляла, стреляла...

Потом, перед самой развязкой, вдруг спохватилась: каким образом немцы нашли их землянку?

«Неужели Миша попался и выдал?—Но как ни была Варя зла на Мишу, она тут же отогнала эту мысль:—Какая ни тля, а такой вещи не сделает!..»

Оля тоже стреляла отлично и тоже почти без промаха. Но, в противоположность Варе, она многое передумала в эти короткие четверть часа.

О чем она думала?

Она думала, что не выдать ей отца, брата. Думала о Мише. «Где он? Не наткнулся ли на немцев? Не убит ли?» Вспомнила о Москве, о своей комнате—теперь не придется побывать! Она опять вспомнила день экзаменов в театральной школе, темный зал, урок мимики, слова учителя: «Без мимики нет актера».

«Вот бы этого учителя сюда,—добродушно подумала она,—небось, и сейчас преподает свою мимику».

И снова думала о Москве, о школьных ребятах, о студентах, с которыми рыла эскарпы, о покойных Косте Смирнове и Кате Петровой; о технике-интенданте Шуре, который все писал тезисы и никак не мог объясниться в любви. И, вспомнив о тезисах, она вспомнила о Мишинных письмах, и сердце ее снова забилося тревогой. Что с Мишей? Почему он не возвратился? Не подстрелили его? Она представила себе, что Миша попался к немцам, его пытаются, допрашивают, может быть, пристрелили—и вся кровь похолодела в ней.

«Нет, нет, он выбрался, он умный, толковый!—горячо, с великой надеждой подумала она.—Только бы вылез, вылез!»

Немцы подтянули станковые пулеметы и начали обстрел. Дело шло к развязке.

— Пора!—сказала Варвара и вынула пистолет.

Оля промолвила:

— Давай, Варя, письмо напишем!

— Кому?

— Товарищам.

— Да ведь немцы найдут.

— А мы спрячем, может, не найдут.

И она набросала письмо, в то время как Варя продолжала отстреливаться, перебегая в одиночку от амбразуры к амбразуре.

Вот что она написала:

«Дорогие товарищи! Сейчас мы умрем. нас обнаружили, мы дрались до последнего. Товарищи! Шлем вам прощальный привет, Варя и я, помните, не забывайте нас. Мы решили застрелиться, чтобы не попасть в руки врага. Мы решили застрелиться,

обернувшись лицом на восток, лицом к вам, друзья, лицом к нашей Красной Армии. Напишите моему брату лейтенанту Петру Котельникову. Товарищи, напишите ему большое письмо, скажите, что в этот последний момент я думала о нем, вспоминала, как мы с ним жили, нашу комнатку на Кропоткинской, мамин большой портрет на стене. Напишите ему, чтобы не горевал. Пройдет время, придет победа, и счастливый народ сложит песни о всех убитых, погибших за родину. И, может быть, и о нас с Варей кто-нибудь сложит стихи или песню, и снова мы будем жить, и я, мой дорогой брат и отец, буду снова с вами, пока будет жить эта песня. Знайте, что мы умираем спокойно и радостно. Прощайте. За родину! За Советскую власть! Пусть будет победа!»

Она спрятала письмо в Варину любящую табакерку, зарыла и завалила ее камнем. Потом Варя отложила автомат. Подруги обнялись, поцеловались.

— Прощай, девка! Любила я тебя, крепко любила,—сказала Варя, и в первый раз в жизни Оля увидела слезы у нее на глазах.

И это было последнее, что она видела. Раздалась два выстрела.

Когда немцы вошли в разрушенную землянку, они нашли там трупы двух девушек. Одной по документам было восемнадцать лет, другой двадцать. В одном вещевом мешке лежали ватные брюки, пара отличных теплых кальсон и несколько пачек табака. В другом не нашлось табака, но зато нашлось много писем: Мишины письма. Вещи немцы разграбили, а трупы раздели и бросили в снег, в овраг.

Здесь эти трупы и пролежали до весны.

Маневр Перемитина удался. Дивизия дремучим заснеженным Доезжаловским лесом обошла оборонительные линии, сооруженные немцами. Появившись внезапно для врага в местности, отстоявшей в нескольких десятках километров к западу от фронта, дивизия, рассеивая и уничтожая слабые тыловые гарнизоны врага, вбила новый глубокий клин в расположение немцев.

Перемитин руководствовался в этой операции суворовским правилом: «удивить—победить». Он определял самые неожиданные марши, наносил удары в самых неожиданных направлениях, стараясь сбить противника с толку, привести его в замешательство, напугать решительностью и быстротой действий. Комдив старался удивить, ошеломить врага, вогнать его в панику, помня завет великого фельдмаршала: «Кто напуган, тот наполовину разбит».

Этот поход требовал величайшего напряжения. Опять шли бойцы по горло в снегу, на этот раз по лесам, которые даже летом были непроходимы для такой массы людей. Опять захлебывались от ветра и вьюг, несли на себе полную выкладку, тащили за собой на лямках орудия, поставленные на полозья. Продовольствие не поспевало за дивизией—ее движение было причудливо и представляло собой на карте ряд хитрых, проложенных по лесам, кривых и зигзагов. Обычно продукты сбрасывали с самолетов. Однако все время бушевала непогода, с самолета почти не видно было земли, и мешки с сухарями падали где-то далеко в стороне, их приходилось искать долго, настойчиво, иногда целыми сутками! А дивизия не могла ждать—Перемитин вел ее вперед

и вперед тяжелыми путями, неожиданными, решительными бросками. И случалось, что люди совсем ничего не ели по двое и трое суток, покуда бойцы, оставленные для поисков сброшенных с самолета мешков, не находили их и не подтягивали на руках к дивизии. Тогда начинался пир—двести граммов сахарной крошки на брата.

В течение всего этого изнурительного похода внезапность и неожиданность были единственным преимуществом Перемитина, и он пользовался этой внезапностью и неожиданностью с силой и тонкостью настоящего мастера. Он, запуская врага, заставлял его сосредоточивать силы в пунктах, где не предполагалось удара, производил днем ложные марши по полям, чтобы ночью по лесу уйти далеко в противоположную сторону и обрушить удар там, где силы немцев были ослаблены. Его движение сбивало с толку не только наземную разведку врага, но и воздушную разведку, правда, чрезвычайно затрудненную непогодой.

Перемитин почти не спал. Он похудел, глаза его ввалились, он оброс бородой. Он шел сердитый, сосредоточенный—ему все казалось, что колонна движется недостаточно быстро, всякие непредусмотренные досадные задержки выводили его из себя. Он то и дело обгонял колонну, подходил к саперам, штуровавшим в лесу путь, и говорил им:

— Скорей, ребятки! Паддай, паддай!

А саперы и так работали на славу. Лес как бы расступался перед ними. Широкая просека оставалась за саперами, и по этой просеке, увязая в снегу, падая, поднимаясь, переваливаясь, шли кони с вьюками, тянулись люди, сани.

В эти дни Перемитин часто вступал в спор



с военкомом дивизии Турухиным. Турухин был с самого начала против похода через Доезжаловский лес и теперь настойчиво выступал против каждого нового маневра, против каждого нового решения, найденного комдивом и начальником штаба в бессонные ночи.

Маневр блестяще удался, поход был закончен, и в середине марша Перемитин получил благодарность от командования.

Турухин первый сердечно поздравил комдива. Правда, он попрежнему считал, что поход этот—авантюра.

Тот факт, что поход закончился отлично, несколько не разубедил Турухина. Но он принадлежал к сорту людей, которые столь же охотно признают свои ошибки после разъяснения высших инстанций, сколь упорно настаивают на них до такого разъяснения.

Словом, Турухин искренно поздравил комдива и растроганно и радостно обнял его.

Перемитин отшучивался, а потом вдруг стеснительно и выжидательно сказал, обращаясь к начальнику штаба:

— А правда, Петр Никифорович, ведь не плохо провели операцию, а? Можно в центральную газету написать об уроках операции. Как вы думаете?

— Напиши, конечно, напиши,—радостно и дружелюбно отозвался комиссар,—и тебе литераторов из дивизионной газеты пришлю, они тебе напишут.

— А зачем мне литераторы?—обиженно произнес Перемитин.—Я сам напишу!

— Ну, как знаешь! С ними ловчее!

После завтрака Перемитин сел писать письмо

домой, а Турухин занялся докладом начподива. Перемитин писал увлеченно, потом шум спора отвлек его.

«О чем они спорят?»—подумал он.

Спор шел о месте секретаря партбюро в походной колонне. Турухин отстаивал мысль, что секретарь партбюро должен идти в середине колонны. Спор шел горячий, можно было подумать, что вопрос о том, где должен находиться секретарь партбюро во время марша, имел решающее значение для всего хода войны. Турухин ссылаясь на циркуляры, быстро и ловко перебирал папки—этот спор был ему по душе, целиком захватил его.

— Ну, как полагаешь, комдив? Прав я?—спросил Турухин и дружески, оживленно посмотрел на Перемитина, ища поддержки.

— Да, да!—кивнул головой Перемитин.

«Нет, не сработаться мне с ним! Какие-то разные мы с ним коммунисты»,—печально подумал он.

\* \* \*

Парфентьев с Кройковым вернулись на фронт из лазарета уже весной, когда рота стояла в полу-сожженной немцами, брошенной жителями деревне Оленьи Горы. Встретили их радостно. Через несколько дней бойцы упросили Парфентьева устроить «разговор по душам»—по примеру тех, которые он устраивал зимой. Парфентьев без особой охоты согласился—он помнил выговор Турухина.

Собрались в просторной избе. Пели, рассказывали разные случаи из жизни, и опять, как и зимой, лучше всех, задушевней всех, удивительней всех рассказывал политрук. Где только он не побывал! И в степях, и в лесах, и в зеленых южных садах.

Все высмотрел, обо всем умел рассказать. Была и шутка, и смех, и раздумье, и широта в его долгих рассказах.

Слушая Парфентьева, сидя в избе, в клубках теплого табачного дыма, в мирном мерцании лампы, каждый боец ощущал то, о чем так часто думал комдив Перемитин:

«Вот,—думал боец,—сiju я, Васильев, здесь, неподалеку от врага, но я не один в этот трудный в моей жизни час, а рядом со мной друзья, и они видят, понимают, вздыхают, курят, смеются, поют, как я. Они помогут мне, как я помогу им, и охранят меня, как я охраню их, потому что все мы—одна фронтовая советская рота, столько видевшая, столько крови пролившая, столько голодавшая, холодавшая! Да разве я не поделюсь всем с Милкиным, и он не поделится всем со мной? Да разве мне не легко, хорошо и спокойно от того, что вот рядом сидит Яша Смигло, чью семью, чьи заботы и думы, чей перочинный ножик с надписью «Кавказ» и гимнастерку с пятном на правом рукаве я так хорошо знаю? И разве мне не приятно и радостно, что вон он, под лампой, Сафонов, который сегодня получил письмо от жены и поэтому так понятно весел и так все понятно просит и просит спеть песню. Да, мы советская, бывалая рота. Мы вместе видели смерть, мы знаем теперь, что ложь и что правда, что страшно и что не страшно, что голод и что не голод, что мысль, а что—так, просто пустяк! Ну, ну, говори!—ласково думал боец, слушая, как Сафонов рассказывает про свою пекарню,—все это ты не раз рассказывал мне; но мне приятно, уютно слушать тебя, потому что и ты сам, и твои брюки, и твои привычки, и твое пекарное ремесло, и батоны,

которые ты выпекал,—все это наше, родное, советское, фронтовое».

Вот почему бойцы так любили парфентьевские «вечорки».

Под конец стали просить Кройкова, чтобы он рассказал, как тащил политрука зимой по лесу. Однако Кройков сердито отнекивался:

— Да что тут рассказывать? Тащил и тащил, и все тут.

Он помолчал, построговал ножичком какую-то палочку и добавил:

— Вот доклад о международном или военном положении сделать — это, пожалуйста!.. У меня тут и карта неподалеку,—промолвил он, оживляясь.

\* \*

Настала весна, сошел снег, зазеленели леса, запели птицы. Зори еще стояли холодные, но в полдень уже было жарко, вода ручьями текла по дорогам. Болота превратились в широкие озера — бледные, оранжево-серые в короткой весенней ночи.

Бои на время совсем прекратились. Оленьи Горы оказались как бы на острове, окруженные со всех сторон водой: даже пищу роте Котельникова доставляли на лодках.

А потом началось лето. Дороги просохли, тучи белой жгучей пыли стояли над селом. Жаркий ветер гулял по полям, рябил реку, шумел в деревьях. Стоял июль, начиналась летняя истома природы, с ее плодоносной работой, с ее зелеными далями, мерцающими в полуденный час, с ее ленивыми всплесками рыб в реке, с ее хлебами и комарами.

В июле, как только дороги просохли, немецкое командование решило нанести удар, дабы срезать

клин, вбитый зимой Перемитиным. Оно сконцентрировало крупные силы и начало операцию массированными налетами авиации, нанося одновременный удар в основание клина и в его острие.

В острие клина, в деревне Оленьи Горы, стояла рота Петра, которая в течение всего зимнего похода шла в голове колонны. На «котельниковцев» (так называл эту роту комдив Перемитин) и обрушился первый немецкий удар.

Это была классическая немецкая атака: вслед за авиацией двинулись танки, бронированные платформы с мотопехотой. Шесть раз отбивали «котельниковцы» немцев, а волны танков и мотопехоты не только не иссякали, но нарастали. Не раз звонил Петр комдиву с просьбой о подмоге, но Перемитин отказывал: весь участок, защищаемый дивизией, испытывал сильнейшее давление, и комдив сберегал резервы.

— Держитесь,—сказал он Петру,—к вечеру дам смену.

А где он, вечер? До вечера еще далеко! Солнце в самом зените, горячее, июльское солнце. Как лениво оно, как медленно ползет по голубому линиялому небу!

Седьмая атака. Отбили. Восьмая атака. Прогиб в обороне... Скорее бы вечер! Но где там! Солнце застыло. Оно не движется. Плывут облака, рывками бьет теплый ветер, шумят деревья! И солнце неподвижно!

Девятой атакой немцы пробили брешь в обороне и ворвались в Оленьи Горы. Бой закипел в домах, в коровниках, в конюшнях, в клубе, в сельпо, в детских яслях, в сельской амбулатории, в сараях.

— Немцы пробились в село,—сообщил Петр Перемитину.

— Держитесь!—отвечал Перемитни.—Надеюсь на вас! Держитесь, держитесь!

И «котельниковцы» держались. Ох, как трудно было им, ох, как жарко! Огненный дождь снарядов, бомб, мин осыпал их. Солнце не двигалось, оно палило, искрилось, жгло, но не двигалось! Оно словно приросло к небу—вон там, возле этой проклятой тучки. А «котельниковцы» держались, держались!

Однако редели их силы, и все меньше и меньше становилось в роте бойцов.

Погиб штукатур Алексей Лузарек. Он засел в избе на околице и подстреливал из автомата каждого немца, который проникал на улицу. Избу окружили, вломилась в дверь. Лузарек залез на чердак по лестнице, бил оттуда. Немцы сгоряча пошли на штурм лестницы, Лузарек бил их на выбор. Он работал только наверняка—как когда-то Варвара—в грудь врага, в голову, в сердце. Ни одной пули не пустил Лузарек на ветер. Не зря, значит, добывали свинец из советской земли советские рудокопы; не зря плавил, калил, строгали металл, отказывая себе в сне, работая без отдыха, в пропотевших рубахах, с воспаленными от труда глазами советские рабочие—парни, девушки, старики; не зря везли эти пули на фронт под бомбами советские железнодорожники; не зря, не на ветер потрудились страна, чтобы сработать, отшлифовать, подвезти Лузареку эти пули. Не подкачал штукатур Лузарек! Каждую пулю доставил по адресу.

Немцы выкатились из избы и подожгли ее. Огонь охватил стены, лестницу, потолок. Задымился пол на чердаке, дым разъедал глаза.

Был Лузарек из Иванова, работал по штукатурному делу, недавно женился и только вчера показывал

товарищам полученную в письме карточку жены: молодое лицо со светлыми глазами, с туго уложенными на затылке волосами, белая кофточка, скромная брошка. Надпись: «Коля, помни, и я тебя помню!»

— Пожил!—сказал Лузарек.—Прощайте, кто меня знает!

Вынув гранату, бросил в слуховое окно. Взрыв. И, пробежав по горящей крыше, прыгнул, дымясь, Лузарек на землю.

Не стало Лобакина—трамвайного кондуктора и Яши Смигло—бухгалтера.

Они засели в каменном здании магазина сельпо и стреляли оттуда из противотанкового ружья. Два танка подбили бойцы. А когда Петр подполз к ним, они били немцев из автоматов.

— Так, так!—сказал Петр.—Идет работа?

— Идет работа!

Петр пополз дальше, приполз в клуб, где сидели колхозник Свиридов, дворник Седых и другие, приполз под минами в амбулаторию, которую обороняли Серегин с Сафоновым и другими бойцами, прополз в клуб, в детские ясли, по избам. И всюду спрашивал:

— Бьем немцев?

— Бьем немцев!

И они били немцев. Они вышибали из них душу. Они поджигали их в танках, и с воплями выпрыгивали из люков, на радость русской земле, горящие черные фашистские танкисты.

Немцы обнаружили Лобакина и Смигло и стали обстреливать сельпо из танковых пушек. Дрожали стены, сыпалась штукатурка, падала с полок магазина нехитрая утварь—горшки, графины, коробки с пуговицами, лентами, дешевыми кружевами, пачки с карандашами. Один снаряд пробил стену и разорвался

внутри магазина. Все смешалось в огненном вихре: осколки стекла, битый кирпич, детский велосипед, обломки зеркал, деготь, лопаты, топоры, сбруя, разобраные кины ситца. Взрывная волна отбросила Лобаккина и бухгалтера в разные стороны и погребла их под мусором. Пасилу выбрались. Ружье, автоматы— все отказало. Оставались четыре гранаты.

— Близко конец!—сказал кондуктор.

— Теперь скоро!—ответил Яша.

Был Яша бухгалтером, любил свое дело и даже здесь, на фронте, все что-то вычислял, все что-то линовал, записывал, подводил итоги. Он добровольно вел всю ротную канцелярию, и почерк у него был бисерный, такой отчетливый, что каждая буква как бы светилась. Имел Яша мандолину, возил ее с собой повсюду в обозе, вместе со своим сундучком. Даже обозные знали хорошо эту мандолину, называли ее «бухгалтерской» и изредка осторожно трогали струны ее заскоруждыми пальцами.

А когда брал Яша мандолину в руки, то пел всегда старинные нежные песни—те, что поют счетоводы и телеграфисты на дальних железнодорожных станциях в степи. Пел глухо, голоса не имел, слуха тоже, но заменял голос и слух чувством:

Ночь светла, над рекой  
Тихо светит луна...

И когда пел, то нередко плакал. О ком он плакал, кому он пел? Он не говорил этого, но Милкин, который все знал, выяснил, что у Яши была невеста, полюбила другого, и плачет Яша оттого, что эти самые песни он пел невесте, которая полюбила другого. Так утверждал Милкин. А Яша не утверждал ничего. Он пел:

И блестит серебром  
Голубая волна...



Два новых взрыва. Немцы пошли на штурм. Первый немец вырыгнул через пролом в магазин, за ним другой, третий. На ходу застрочили автоматами. Конец? Нет, не конец.

Лобакин бросил гранату.

Он работал трамвайным кондуктором в Москве, на маршруте № 17, в показательном мягком вагоне. Работал он превосходно, знал наизусть все остановки своего маршрута, заранее выкликал их названия и вообще был так предупредителен и вежлив, что пассажиры московских трамваев не могли нарадоваться на него. Он увлекался спортом, играл защитника в футбольной команде своего профсоюзного клуба. Играл он столь же хорошо, как и работал: с толком, воодушевленно, умело. Его давно хотели перевести в команду мастеров, однако тренер с сомнением говорил:

— Все отлично, но вежлив. Пельзя!

И на фронте он тоже был вежлив, все сидел в уголке и читал книжки, все рисовал заголовки для боевых листков и даже когда сердился на что-нибудь, то сердился тихо и вежливо. Только когда кто-нибудь из бойцов начинал с апломбом рассуждать о футболе, говорил очень резко, но в сущности тоже вежливо:

— Прости, но ты ни черга в этом деле не понимаешь! Ни бельмеса!

Немцы накапливались у пролома, осторожно продвигаясь вперед; не переставая работали немецкие автоматы. Вот немцы уже почти у прилавка, за которым укрылись Лобакин и Смигло. Конец? Нет, еще не конец. Яша бросил гранату. Взрыв. Стоны. Крики.

Немцы помедлили, потом стали опять осторожно подползать. Наконец они обогнули прилавок и кину-

лись на бойцов. Два взрыва—кондуктор и Смигло бросили гранаты прямо в немцев, метрах в пяти от себя. Вздрыбился пол, раскололся прилавок, обрушился потолок. И все стихло. Молчание.

Это—конец.

Эх, скорее бы вечер, скорее бы вечер!

Да что с ним, с солнцем, сегодня? Оно чуть-чуть склонилось на запад и снова застыло, точно кто-то приклеил его. Только бы выдержать, не отступить!

А немцы все наседают, наседают. Нет уже ни Свиридова, ни Седых, ни Сафонова.

Не стало Серегина. Он оборонял амбулаторию, расстрелял все патроны, разбросал все гранаты, а когда немцы вломились в здание, сорвал с окна железную штангу с занавеской и кинулся на врагов. Его хотели взять живьем, навалились,—он раскидал немцев. Навалились опять, и опять он сбросил с плеч этот тяжелый, хрипящий, кричащий, задыхающийся груз. Выхватил нож. Пуля свалила его. Но, уже падая, он размахнулся ножом: даже сейчас, с помутневшим сознанием, с меркнувшим светом в глазах, он думал только о том, чтобы убить немца.

Его опрокинули, топтали сапогами, били прикладами. Кто-то выстрелил в упор в сердце.

Немцы спихнули труп Серегина в канаву. И зашумела над конюхом родная трава, и глянуло ему в мертвый открытый глаз родное далекое небо.

Погиб политрук Парфентьев. Вместе с одним из взводов он пошел в контр-атаку на занятое немцами здание сельсовета. Немцев из сельсовета выбили, но в бою смертельно ранили политрука. Он лежал на плащ-палатке, и санитар возился над ним. Дело было в избе, где находилась пулеметная точка Кройкова. Когда Парфентьев пришел в себя, он увидел

Кройкова, бывшего короткими очередями из пулемета.

— Помираю, Кройков!—сказал политрук.

— Поживем,—нехотя откликнулся Кройков: он не любил врать, особенно перед лицом смерти.

— Ну как, Кройков? Не плохо деремся?

— Да лучше нельзя!—уже охотней ответил Кройков, хотя и хвастаться он не любил перед лицом смерти.—Лучше никак невозможно!

Так лежал политрук и смотрел, как работает за пулеметом Кройков. Казалось политруку, что прошло уже много часов с момента ранения, и слабая надежда, что, может, это еще и не смерть, что, может, действительно еще поживем, оживала в его сердце. Он видел широкую спину Кройкова, его затылок и на затылке крохотный хохолок, который смешно подрагивал при каждом выстреле пулемета. Он вспомнил, что вот точно так же, только без пулемета, лежали они вдвоем зимой, в снегу, когда Кройков несколько суток возил его, раненого, на лыжах—лежали и разговаривали о чем-то важном. О чем? Парфентьев долго не мог припомнить, а потом вспомнил.

— Кройков! Помнишь, я тебе о девушке Наде рассказывал?

— Помню.

— Выходит, так я ее и не встретил... Ни разу... За всю жизнь. Вот случай!

Кройков долго молчал и, щуря левый глаз, вонзал короткие стремительные очереди в переползавших дорогу немцев. И вдруг, без всякой видимой связи, сказал:

— Хороший вы человек, товарищ Парфентьев! Фронтовой. Большевик. Побольше бы нам таких, давно бы немцев побили.

— Что?—изумленно отозвался политрук.—Да я и полгода-то на войне не пробыв!

— Ну, ладно, у каждого есть свои мысли!—уже нехотя отрезал Кройков, потому что и спорить он не любил перед лицом смерти.

Но думать он любил. Он стрелял и думал о том, что вот жил скромный партиец Парфентьев, всю жизнь работал как сталинец, не жалея сил, и когда пришло время, стал драться с врагом как сталинец, до последнего вздоха. И сколько таких людей, воспитанных Советской Страной, партией, Сталиным! И что было бы сейчас с Россией, если бы не они!

Солнце склонилось к западу. Но, уже приблизившись к макушкам деревьев, оно опять словно прилипло к небу, озаряя поля желтым светом. Только бы выдержать, не отступить! Отбили сельсовет, амбулаторию, потом немцы опять взяли амбулаторию, и во второй раз рота высадила их оттуда. Но силы роты слабели. Не стало чертежника Прохорова, колхозника Милкина, убили портного Федосеева—того, что подштопывал всей роте обмундирование и умел пришивать пуговицы, как никто.

Пулемет Кройкова, установленный в подвале избы, контролировал важный подступ к сельсовету, и Петр перенес свой командный пункт в этот подвал. Отсюда ясно была видна улица. Немецкие трупы устилали ее. Они лежали в своих зеленых куртках, с разможженными головами, с развороченными животами, подогнув под себя ноги, вытянув руки с окостеневшими пальцами—черноволосяе, белокұрые, рыжие, с окровавленными жадами, с пробитыми касками, худые смертной восковой худобой.

Горы немецких трупов на улице, но немцы бросают все новые и новые силы. Ох, тяжело, тяжело,

тяжело! Уже оставили наши и амбулаторию, и сельсовет. Отошли из клуба. Идет бой за здание почты. Вот немцы заняли почту. Нет, не заняли! Кто-то из наших бьет со второго этажа. Так их, так! Теперь заняли, выстрелы умолкли.

Вот уже атакует враг вторую половину деревни—избу за избой.

Нет, так дальше нельзя! Ни шагу назад! Надо держаться, теперь недолго! Солнце уже за деревьями. Темнеет. Держаться, держаться!

Кройков бьет, бьет, бьет из своего пулемета. О чем он думает? Он думает о том, что надо держаться. Ему очень хочется пить—по где там, разве сейчас напьешься! А хорошо сейчас за деревней, в реке. Плещет вода, холодная вечерняя вода, пахнувшая илом и деревом. Мир-то какой, как хорошо его придумали, создали, разубрали! Жить бы да жить! А тут—помирать! Впрочем, может, еще не померешь? Нет, где уж там, разве тут не померешь? Померешь!

«Только бы хорошо помереть, спокойно... Как коммунист... вот как Парфентьев!»—думает Кройков.

И, вспомнив опять про Парфентьева, он вспоминает, как Парфентьев работал в глубинке, ездил по колхозам, заведывал райзо, директорствовал в универмаге и вот так всю жизнь провел в работе и в хлопотах и даже Падю не встретил ни разу—затерял Падю неизвестно где.

«Письмо бы той Паде написать,—подумал озабоченно Кройков, стреляя из пулемета,—говорил, мол, о вас перед смертью ваш знакомый Парфентьев... Да адрес? Адреса нет, вот пезадача!»

Он вспомнил, что от Вари тоже давно нет писем—самого его ранения. Что с ней? Где она?

«Забыла?—подумал он, как думал все это время.—

Ну что же, пусть забыла, только бы ее не убили!  
А если убьют?»

Убьют и его и ее, и кончится смертью их робкая, странная фронтовая любовь.

«А если убьют,—горячо, с верой, всем сердцем подумал он,—так пусть ей будет легкая смерть. Чтоб сразу!»

Петр не сидел на месте. Он проползал туда, где разгорались особенно свирепые схватки. «Держаться, держаться»,—вот о чем думал он. Эта мысль захватила все его существо; каждую избу, которую отдавали немцам, он чувствовал всей кровью, как чувствуют гибель родимого существа. Он понимал, что нет уже сил держаться, что бойцы и так творят чудеса, он чувствовал, что то иллюзорное равновесие, которое поддерживается сейчас только великолепным героизмом, чудесным военным упрямством, вот-вот рухнет—и тогда наступит конец. Он думал, что, может быть, другой командир давно бы отдал приказ отступить,—не благоразумней ли сделать это сейчас ему, Петру? Но он не мог найти в себе силы отдать этот приказ, как не мог бы убить сына.

«Вот сейчас, как только возьмут эту избу, я начну отступать!»—думал он.

Но немцы брали избу, а Петр не только не отступал, а с горсткой бойцов бросался в контр-атаку. «Держаться, держаться!»—это слово было сильнее его, он не мог произнести никакого другого.

И бойцы держались. Показала себя фронтовая рота «котельниковцев»!

Стемнело, немецкий напор ослабел, но только на время. Петр приполз к себе на командный пункт, где Кройков попрежнему неустанно бил из пулемета.

Петр присел около него, голова кружилась. Он вынул из сумки хлеб и консервы.

— Ты ел?—спросил он Кройкова.

— Нет.

— Так закусим!

— Неохота,—сказал Кройков.

Он и на самом деле не хотел есть, хоть и не ел весь день.

— А я поем,—откликнулся Петр.

Разрезал краюху, открыл консервы. И как только взял кусок в рот, так почему-то в первый раз за весь этот страшный день вспомнил про жену и сына. Он вспомнил, как Яшка кричал ему в трубку: «Только не убивайся!», и ему до такой степени захотелось повидать сына и попрощаться с ним, что слезы выступили на глазах.

— Кройков, у тебя сын есть?

— Нет.

— А жена?

— Нет.

— Как же ты так? Уже ведь не молодой!

— Не гулял. Работал. Танцев не было,—сурово промолвил Кройков, стреляя из пулемета.

Потом они вдруг почувствовали сильный толчок, опрокинулись навзничь, земля поплыла, и они потеряли сознание: немецкий снаряд попал в избу, Кройкова с Петром придавило.

Петр очнулся не скоро. Когда он открыл глаза, рядом с ним попрежнему сидел Кройков, хоть было это в совсем незнакомой комнате. За окнами слышалась бешеная стрельба, разрывы. И сразу та единственная мысль, которая владела Петром весь день, снова вернулась к нему.

— Держаться, держаться!—пробормотал он, си-

лись подняться, и вновь падал на скамейку.—Где идет бой?—едва проговорил он.

— Лежите! Откомандовались! Пришла смена, отбили у немцев амбулаторию, теперь берут сельсовет,—сказал полковой врач, и Петр удивленно глядел на него, не узнавая, хоть знал не только его фамилию, но и имя.

— Благодарите Кройкова!—добавил врач, помолчав.—Вытащил вас из-под обломков. Ну-с, придется вам до медсанбата пешечком дойти с Кройковым: раны у вас с ним легкие, а на лошадях сейчас не проедешь.

И пошли они с Кройковым вдвоем в медсанбат. Они шли, пошатываясь, поддерживая друг друга, с кровавыми повязками на руках и на головах. Они шли в теплой июльской темноте, эти два солдата нового мира. Звездное небо сияло над ними, озаряемое вспышками ракет, резкий ветер охлаждал их горячие пыльные лица. Под ногами у них была мягкая, пыльная земля, та земля, где они родились, простая и великая русская земля, ненаглядная родная земля, за которую шел этот страшный кровавый бой и которая лежала сейчас тихо и сумрачно в лучах недосягаемых звезд. Россия...

Они шли, останавливались, садились на землю, отдыхали. Они имели право на отдых, они хорошо поработали в этот день. Они дрались за каждый угол русской избы, за каждую пядь, за каждый кирпич. Кто знает, как им было тяжело! Кто поймет, как трудно им было стоять, как медленно двигалось солнце, как ревели вокруг осколки, как дикий огонь хлестал в глаза, как падали один за другим стоявшие рядом бойцы—братья по мыслям и смерти. Кто знает и кто поймет? Только Россия.



Они пришли в медсанбат, и тут только Кройков спохватился, что не знает, где его партбилет. Он хлопал себя по карманам, ахал, растерянно рылся в мешке,—нет партбилета! Потом он вспомнил, что спрятал его в начале боя в задний карман. Извлек: потрепанный, погнувшийся по краям, со следами набившейся в карман черной земли. Тщательно продул его, отряхнул, завернул в чистую тряпочку.

— Вот было совсем партбилет потерял,—облегченно и весело сказал он санитару,—уж искал, искал... Замаялся... Аж потом прошибло!

— Партбилет?—санитар удивленно поглядел на него.—А ты разве партийный?

— Партийный!—хмуро сказал Кройков.—Ну и что же из этого?

— Да уж не похож!—крикнул санитар и подмигнул медсестре.—Никак не похож! И по виду и по разговору!

— Вид как есть вид и разговор как есть разговор!—сердито отозвался Кройков.

---

*Редактор А. Ступникер*

---

А 458

Подписано к печати 17/V 1943 г.

Печ. л. 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, авт. л. 6,66 уч.-изд. л. 6,91

Тираж 20000. Заказ 89.

Цена 3 руб.

---

6-я типогр. ОГИЗа. 1-й Самотечный, 17.

3 руб.